Семен Липкин

Лунный свет

Семен Липкин

Лунный свет

Стихотворения и поэмы

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1991

ББК 84Р7
Л61

Л $\frac{4702010202-014}{М106(03)-91}$ 164-91

ISBN 5-270-01119-0

СТИХОТВОРЕНИЯ

БЕСЕДА

— Сладок был ее голос, и нежен был смех.
Не она ли была мой губительный грех?

— Эта нежная сладость ей Мною дана,
Не она твой губительный грех, не она.

— Я желанием призрачной славы пылал,
И не в том ли мой грех, что я славы желал?

— Сам в тебе Я желание славы зажег,
Этим пламенем чистым пылает пророк.

— Я всегда золотой суетой дорожил,
И не в том ли мой грех, что в довольстве я жил?

— Ты всегда золотую любил суету,
Не ее твоим страшным грехом Я сочту.

— Я словами играл, и творил я слова,
И не в том ли повинна моя голова?

— Не слова ты творил, а себя ты творил,
Это Я каждым словом твоим говорил.

— Я и верил в Тебя, и не верил в Тебя,
И не в том ли я грешен, свой дух погубя?

— Уходя от Меня, ты ко Мне приходил,
И, теряя Меня, ты Меня.находил.

— Был я чашей грехов, и не вспомнить мне всех.
В чем же страшный мой грех, мой губительный грех?

— Видел ты, как сияньем прикинулся мрак,
Но во тьме различал ты божественный знак.

Видел ты, как прикинулся правдой обман, —
Почему же проник в твою душу дурман?

Пусть войной не пошел ты на черное зло, —
Почему же в твой разум оно заползло?

Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, —
Говори, почему ты лукавишь с собой?

Почему же всей правды, скажи, почему,
Ты не выскажешь даже себе самому?

Не откроешь себе то, что скрыл ото всех?
Вот он, страшный твой грех, твой губительный грех!

— Но когда же, о Боже, его искуплю?
— В час, когда Я с тобою в беседу вступлю.

1942

* * *

В неверии, неволе, нелюбви,
В беседах о войне, дороговизне
Как сладко лгать себе, что дни твои —
Еще не жизнь, а ожиданье жизни.

Кто скажет, как наступит новый день?
По-человечьи запоет ли птица,
Иль молнией расколотая тень
Раздастся и грозою разразится?

Но той грозы жестоким голосам
Ты весело, всем сердцем отзовешься,
Ушам не веря и не зная сам,
Чему ты рад и почему смеешься.

1940

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издалёка занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только — Китай!

В этот час появляются люди:
Коновод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник.
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник,
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

1948

РАННЕЕ ЛЕТО

Мы оставили хутор Веселый,
Потеряли печать при погрузке,
А туда уж вошли новоселы
И команда велась не по-русски.

Мы поставили столик под вишней,
Застучал ремингтон запыленный...
— Ну сегодня помог нам всевышний, —
Усмехнувшись, сказал батальонный.

А инструктор Никита Иваныч
Все смотрел, сдвинув светлые брови,
На блестевший, как лезвие, Маныч
И еще не остывший от крови.

Как поймет он, покинутый верой, —
Что страшнее: потеря печати,
Или рокот воды красно-серой,
Или эхо немецких проклятий?

Столько нажито горечи за ночь,
Что ж сулит ему холод рассвета,
И воинственно блещущий Маныч,
И цветение раннего лета?

Искривил он язвительно губы,
Светит взгляд разумением ясным...
Нет, черты эти вовсе не грубы,
Страх лицо его сделал прекрасным!

Ах, инструктор Никита Ромашко,
Если б дожил и видел ты это, —

Как мне душно, и жутко, и тяжко
В сладком воздухе раннего лета!

Я не слышу немецких орудий,
Чужеземной не слышу я речи,
Но грозят мне те самые люди,
Что отвергли закон человечий.

Тупо жду рокового я срока,
Только дума одна неотвязна:
Страх свой должен я спрятать глубоко,
И улыбка моя безобразна.

1949

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

Тихо напевает арычок
О звезде над Тихим океаном
И о том, что белый кабачок
При дороге вырос под каштаном.

Пестики, покрытые пыльцой,
Средь листвы колеблемый фонарик...
Кружку пива пьет товарищ Цой,
Загорелый, высохший малярик.

В тайники тоскующей души
Проникают запахи соблазна.
Шашлыки, пельмени, беляши, —
Вкусно, жирно, дешево и грязно.

Все похоже на родной уют,
На стене — следы густой олифы,
Предлагая сорок разных блюд,
Сверху вниз бегут иероглифы.

Дальше — рынок. Продают собак.
А на среднеазиатском лессе
Набухает рис. Пахуч табак.
Хороши пшеничные колосья.

Что в полях желтеет вдалеке?
Кореянка. И над нею звонок
Комариный плач. В тугом мешке
Неподвижен за спиной ребенок.

Старый Цой, о чем же ты грустишь?
Может, погрузился ты в нирвану?

Иль в твою насильственную тишь
Ворвалась тоска по океану?

Здесь чужая, знойная земля,
В воздухе – безумье и тревога,
И бежит, и кружится, пыля,
Грейдерная бойкая дорога.

1950

ЛОМОВАЯ ЛАТЫНЬ

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музы́ка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацьи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?

Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел Твою книгу,
И недаром теперь мне дано
На рассвете доесть мамалыгу
И допить молодое вино.

1952

МОЛОДАЯ МАТЬ

Лежала Настенька на печке,
Начфин проезжий — на полу.
Посапывали две овечки
За рукомойником, в углу.

В окне белела смутно вишня,
В кустах таился частокол.
И старой бабке стало слышно,
Как босиком начфин прошел.

Ее испуг, его досада
И тихий, жаркий разговор.
— Не надо, дяденька, не надо!
— Нет, надо! — отвечал майор.

Не на Дону, уже за Бугом
Начфин ведет свои дела,
Но не отделалась испугом,
Мальчонку Настя родила.

Черты бессмысленного счастья,
Любви бессмысленной черты, —
Пленяет и пугает Настя
Сияньем юной красоты,

Каким-то робким просветленьем,
Понятным только ей одной,
Слегка лукавым удивленьем
Пред сладкой радостью земной.

Она совсем еще невинна
И целомудренна, как мать.

Еще не могут глазки сына
Ей никого напоминать.

Кого же? Вишню с белой пеной?
Овечек? Частокол в кустах?
Каков собою был военный:
Красив ли? Молод ли? В годах?

Все горести еще далеки,
Еще таит седая рань
Станичниц грубые попреки,
И утешения, и брань.

Она сойдет с ребенком к Дону,
Когда в цветах забродит хмель,
Когда Сикстинскую мадонну
С нее напишет Рафаэль.

1956

ГРЕК

У самого Понта Эвксинского,
Где некогда жил Геродот,
У самого солнца грузинского,
Где цитрус привольно растет,

Где дышит в апреле расцветшая
Пугливая прелесть цветов,
Где пышет вражда сумасшедшая
Различных племен и родов,

Где землю копают историки
На твердом морском берегу,—
Кофейню в неприбранном дворике
Никак я забыть не могу.

Туристы, простые и знатные,
Дороги не ищут сюда.
Бывают здесь люди приятные,
Почтенные люди труда.

Армяне-сапожники, умницы,
Портные, торговая сеть,
Мыслители рынка и улицы
Здесь любят в прохладе сидеть.

В обычаях жителя местного —
Горячий, но вежливый спор.
За чашечкой кофе чудесного
Неплохо вести разговор.

Там, в дальнем углу,— завсегдатаи,
И это видать по всему.

Как рады, худые, усатые,
Соседу они своему.

Он смотрит глазами блестящими,
Издерганный, смуглый, седой,
Поднимет руками дрожащими
То кофе, то чашку с водой,

Поднимет — и в жгучем волнении
На столик поставит опять.
«...Я сделал им там заявление:
— А что, если смогут узнать,

О нашей проведают гибели
Бойцы Белояниса вдруг?
За это и зубы мне выбили». —
«А много ли?» — «Тридцать на круг».

«Да что ты, чудак, ерепенишься?
Вернулся? Живи как-нибудь!
Еще ты не старый, ты женишься,
Но рот себе справь, не забудь».

Он слушал и шутки отбрасывал
Оливковой нервной рукой.
А море закат опоясывал,
И шум утихал городской.

Казалось, что крик человеческий
Рождался в глубинах морских:
Одних проклинал он по-гречески,
По-русски рыдал о других.

1956

У СОБАК

Закрутили покрепче мы гайку,
Чтоб никто не сумел отвернуть,
В герметическом ящике Лайку
В планетарный отправили путь.

На траву она смотрит понуро,
На дорожный, неведомый знак,
Не поймет, что заехала, дура,
В государство разумных собак.

Перед нею сады и чертоги,
Академии строгий дворец,
А на площади — четвероногий
Знаменитый, гранитный мудрец.

Депутаты, жрецы, лицедеи,
Псы-ученые, псы-лекаря
Пожелали узнать поскорее
Первобытного пса-дикаря.

И толпа, орденами блистая,
На советскую жучку глядит,
От ее допотопного лая
Ощущая и ужас, и стыд.

Что вы знаете, вы, кавалеры
Золотого созвездия Пса,
О страданьях, которым ни меры,
Ни числа не найдут небеса?

Что запели бы вы в своем доме,
Услыхав директивы цинги,

И просторы республики Коми,
И указы державной тайги?

Благосклонный не стал благородным,
Если с низким забыл он родство,
Он не вправе считаться свободным,
Если цепи на друге его.

Ни к чему вашей мысли паренье,
Словопренье о зле и добре,
Если в сердце лишь страх — и презренье
К бессловесной, безумной сестре.

1957

ПОХОРОНЫ

Умерла Татьяна Васильевна,
Наша маленькая, близорукая,
Обескровлена, обессилена
Восемнадцатилетнею мукою.

С ней прощаются нежно и просто,
Без молитвы и суеты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.

Для чего копаться в истории,
Как возникли навет и поклеп?
Но когда опускался гроб
В государственном крематории, —

Побелевшая от обид,
Горем каторжным изнуренная,
Покоренная, примиренная,
Зарыдала тундра навзрыд.

Это раны раскрылись живые,
Это крови хлестала струя,
Это плакало сердце России —
Пятьдесят восьмая статья.

И пока нам, грешным, не терпится
Изменить иль обдумать судьбу,
Наша маленькая страстотерпица
Входит в пламя — уже в гробу.

Но к чему о скорби всеобщей
Говорить с усмешкою злой?

Но к чему говорить об усопшей,
Что святая стала золой?

Помянуть бы ее, как водится
От языческих лет славянства...
Но друзья постепенно расходятся,
Их Москвы поглощает пространство.

Лишь безмолвно стоят у моста,
Посреди городской духоты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.

1958

ТО ДА СЕ

Красивый сон про то да се
Поведал нам Жан-Жак Руссо.

Про то, как мир обрел покой
И стал невинным род людской.

Про то, как все живут кругом
Трудом земли, святым трудом.

Как пахари и пастухи
Дудят в дуду, поют стихи,

Они поют про то да се,
Играют мальчики в серсо...

Жан-Жак, а снились ли тебе
Селенья за Курган-Тюбе?

За проволокой — дикий стан
Самарских высланных крестьян?

Где ни былинки, ни листка
В пустыне долгой, как тоска?

Где тигр трубил издалека?
Где хлопок вырос из песка?

Где чахли дети мужика
В хозяйстве имени Чека?

Там был однажды мой привал.
Я с комендантом выпивал.

С портрета мне грозил Сосо,
И думал я про то да се.

1960

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ

Мужа уводят, сына уводят
В царство глухое
И на звериный рык переводят
Горе людское.

Обыски ночью — и ни слезинки,
Ни лихоманки
Возле окошка, возле кабинки,
Возле Лубянки.

Ей бы, разумной,— вольные речи,
Но издалече
Только могила с ней говорила,
Только могила.

Ей бы игрушки, ей бы подарки,
Всякие тряпки,—
Этой хохлушке, этой татарке,
Этой кацапке,

Но ей сказали: «Только могила,
Только могила!»
Все это было, все это было,
Да и не сплыло.

1960

МЕРТВЫМ

В долгой, замкнутой, душной чугунности,
Где тоска с воровским улюлю,
Как же вас я в себе расщеплю,
Молодые друзья моей юности?

К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?

Вы ответьте,— прошу я немногого:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?

Или гибелью вас осчастливили
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?

1960

АКУЛИНА ИВАНОВНА

У Симагиных вечером пьют,
Акулину Ивановну бьют.

Лупит внук,— не закончил он, внук,
Академию разных наук:

«Ты не смей меня, ведьма, сердить,
Ты мне опиум брось разводить!»

Тут и внука жена, и дружки,
На полу огурцы, пирожки.

Участковый пришел, говорит:
«По решетке скучаешь, бандит?»

Через день пьем и мы невзначай
С Акулиной Ивановной чай.

Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.
В тонкой ручечке блюдце дрожит.

На исходе десяток восьмой,
А за внука ей больно самой.

В чем-то держится эта душа,
А душа — хороша, хороша!

«Нет, не Ванька, а я тут виной,
Сам Господь наказал его мной.

Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: «Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос».

1960

Сколько взяли мы разных Бастилий,
А настолько остались просты,
Что Творца своего поместили
Посреди неземной высоты.

И когда мы теперь умудренно
Пролагаем заоблачный след,
То-то радость: не видно патрона,
Никакого всевышнего нет!

Где же он, судия и хозяин?
Там ли, в капище зла и греха,
Где ликует и кается Каин,
Обнажая свои потроха?

Или в радостной келье святого,
Что гордится своей чистотой?
Или там, где немотствует слово,
Задыхаясь под жесткой пятой?

Или там, где рождаются люди,
Любят, чахнут и грезят в бреду —
В этом тусклом и будничном блуде,
В этом истинно райском саду!

1960

ГОРОД-СПУТНИК

Считался он раньше секретным,
Тот город вблизи наших мест.
При встрече с приютом запретным
Спешили машины в объезд,
Но после двадцатого съезда
Не надобно больше объезда.

Я в очередь, нужную массам,
Встаю у нещедрых даров.
Мне парень, торгующий мясом,
Кричит: «Израйлич, здоров!»
И вполоборота: «Эй, касса,
Учти, что кончается мясо!»

Мне нравится улиц теченье —
Средь сосен глубокий разрез,
Бесовское в башнях свеченье,
Асфальт, устремившийся в лес,
И запад, огнями багримый,
И тонкие, пестрые дымы.

Люблю толстопятых мужичек
И звонкую злость в голосах,
Люблю малокровных физичек
С евфратской печалью в глазах,
Люблю офицеров запаса —
Пьянчужек рабочего класса.

Слыхал я: под тяжестью сводов,
Под зеленью этой травы —
Кварталы, где много заводов,
Где сколько угодно жратвы,

Где лампы сияют монистом
Механикам и программистам...

Уйдем от назойливых басен!
Поверь, что не там, под землей,
А здесь этот город прекрасен —
Не плотской красой, а иной,
Не явью, хоть зримой, но мнимой,
А жизнью покуда незримой,

Незримой, еще не созрелой,
Себе непонятной самой,
И рабской, и робкой, и смелой,
И волей моей, и тюрьмой,
И цепью моей, и запястьем,
И мраком, и смрадом, и счастьем!

1961

Там, где вьется колючее кружево
То сосной, то кустом,
Там, где прах декабриста Бестужева,
Осененный крестом,

Там, где хвоя, сверкая и мучая,
Простодушно-страшна,
Где трава ая-ганга пахучая,
Как лаванда, нежна,

Там, где больно глазам от сияния
Неземной синевы,
Где буддийских божеств изваяния
Для бурята мертвы,

Где дрожит Селенга многоводная
Дрожью северных рек,
Где погасли и Воля Народная,
И эсер, и эсдек, —

Мы великим надгробия высечем,
Мы прославим святых,
Но что скажем бесчисленным тысячам
Всяких — добрых и злых?

И какая шаманская мистика
Успокоит сердца
Там, где жутко от каждого листика,
От полета птенца.

1961

ЧАСТУШКА

С недородами, свадьбами, плачами
Да с ночными на скромных лугах
Projectовала деревня у Пачелмы —
И в давнишних, и в ближних веках.

Переделали, переиначили
Все, что жило, росло и цвело.
Уж людей до того раскулачили,
Что в кулак животы посвело.

И — бежать! Хоть ловили на станции,
Крестный-стрелочник прятал до звезд.
Слава Богу, живем не во Франции,
За пять тысяч очухались верст.

Где в штанах ходят бабы таджицкие,
Где на троицу жухнет трава,
Обкибитились семьи мужицкие —
И записаны все их права.

Здесь курносые и синеглазые
Собираются в день выходной,
И на дворике веточки Азии
Плачут вместе с частушкой хмельной.

1961

ДВЕ НОЧИ

Смятений в мире было много.
Ужасней всех, страшней всего —
Две ночи между смертью Бога
И воскресением Его.

И ужас в том, что в эти ночи
Никто, никто не замечал,
Как становился мир жесточе
И как, ожесточась, мельчал.

Верблюжий колокольчик звякал,
Костры дымились вдалеке,
А мертвый Бог уже не плакал
На местном древнем языке.

Но мир по-прежнему плодился
И умножал число вещей...
Я тоже, как и вы, родился
В одну из тех ночей.

1962

ТЕНИ

Люди разных наций и ремесел
Стали утонченней и умней
С той поры, как жребий их забросил
В парадиз, в Элизиум теней.

Тихий сонм бесплотных, беспартийных,
Тени, тени с головы до пят,
О сонетах, фугах и картинах
И о прочих штуках говорят.

Этот умер от плохого брака,
Тот — когда повел на битву Щорс,
Та скончалась молодой от рака,
Тот в тайге в сороковом замерз...

Притворяются или забыли?
Все забыли, кроме ерунды,
Тоже ставшей тенью чудной были,
Видимостью хлеба и воды.

А один и впрямь забыл былое
И себя забыл. Но кем он был?
Брахманом ли в зарослях алоэ?
На Руси родился и любил?

Он привык летать в дурное место,
Где грешат и явно и тайком,
Где хозяйка утром ставит тесто,
Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают и доносят,
И поют, и плачут, и казнят,

У людей прощения не просят,
А у Бога — часто невпопад...

Он глаза, как близорукий, щурит,
Силясь вспомнить некий давний день,
И, своих чураясь, жадно курит
Папиросы призрачную тень.

1962

ВОЛКИ

Когда зажжется электричество
В двух корпусах и на столбах,
Цветенья раннее язычество
Развеет мой тоскливый страх,

И дождь уйдет, уже откапавший,
Насвистывая на ходу,
И оживу я, точно в капище,
В благоухающем саду.

Там роза, пленница законника,
Сама как будто не своя
От страсти идолопоклонника —
Задумчивого соловья.

Там управляемых и правящих
Не восхваляется родство,
Там голоса скворцов картавящих
Не раздражают никого.

Там зелень стриженая стелется,
Там ива плачет над водой, —
Как брошенная, с нею делится
Своей мечтой, своей бедой.

Ее ласкает по-отечески
Столетний дуб, сухой старик,
И слышен веток человеческий,
Хотя и ломанный, язык...

А в доме волки, всем указчики.
Одни играют в домино,

А для других в волшебном ящике
Поет и вертится кино.

У хищников на мордах барственных
Забот и горя ни следа,
Лишь о делишках государственных
Свой рык роняют иногда.

1962

ТАЙГА

Забытые закамские соборы,
Высокие закамские заборы
И брехи ссучившихся псов,
Из дерева, недоброго, как хищник,
Дома — один тюремщик, тот барышник
С промшенной узостью пазов.

В закусочных, в дыханье ветра шалом,
Здесь всюду пахнет вором и шакалом,
Здесь раскулаченных ковчег,
Здесь всюду пахнет лагерной похлебкой,
И кажется: кандальною заклепкой
Приклепан к смерти человек.

Есть что-то страшное в скороговорке,
Есть что-то милое в твоей махорке,
Чалдон, пропойца, острослов.
Я познакомился с твоим оскалом,
С больным, блестящим взглядом, с пятипалым
Огнем твоих лесных костров.

Мы едем в «газике» твоей тайгою,
Звериной, гнусной, топкою, грибною,
Где жуть берет от красоты,
Где колокольцы жеребят унылы,
Где странны безымянные могилы
И ладной выделки кресты.

Вдруг степь откроется, как на Кавказе,
Но вольность не живет в ее рассказе.
Здесь все четыре стороны —
Четыре севера, четыре зоны,

Четыре бездны, где гниют законы,
Четыре каторжных стены.

Мне кажется: надев свой рваный ватник,
Бредет фарцовщик или медвежатник —
Расконвоированный день,
А сверху небо, как глаза конвоя,
Грозит недвижной, жесткой синевою
Голодных русских деревень.

Бывал ли ты на месте оцепленья,
Где так робка сосны душа оленья,
Где «Дружба», круглая пила,
Отцов семейств, бродяг и душегубов
Сравняла, превратила в лесорубов
И на правеж в тайгу свела?

Давно ли по лесам забушевала
Повальная болезнь лесоповала?
Давно ли топора удар
Слывет высокой мудрости мудрее,
И валятся деревья, как евреи,
А каждый ров — как Бабий Яр?

Ты видел ли палаческое дело?
Как лиственницы радостное тело
Срубив, заставили упасть?
Ты видел ли, как гордо гибнут пихты?
Скажи мне — так же, как они, затих ты,
Убийц не снизойдя проклясть?

Ты видел ли движенье самосплава —
Растения поруганное право?
Враждуем с племенем лесным,
Чтоб делать книжки? Лагерные вышки?
Газовням, что ли, надобны дровишки?
Зачем деревья мы казним?

Зато и мстят они безумной власти!
Мы из-за них распались на две части,
И вора охраняет вор.
Нам, жалкому сообществу страданья,
Ты скоро ль скажешь слово оправданья,
Тайга, зеленый прокурор?

1962

ЛУННЫЙ СВЕТ

Городские парнишки со щупами
Ищут спрятанный хлеб допоздна,
И блестит над степными халупами,
Как турецкая сабля, луна.

Озаряет семейства крестьянские:
Их отправят в Котовск через час,
А оттуда — в места казахстанские:
Ликвидируют, значит, как класс.

Будет в красных теплушках бессонница,
Будут плакать, что правда крива...
То гордится под ветром, то клонится
Аж до самого моря трава.

Стерегут эту немочь упорную —
Приумолкший угрюмый народ.
Если девушка хочет в уборную,
Вслед за нею конвойный идет.

Дверцу надо держать приоткрытою:
Не сбежишь, если вся на виду...
Помню степь, лунным светом облитую,
И глухую людскую беду.

Я встречаю в Одессе знакомого.
Он теперь вне игры, не у дел.
Не избег он удела знакомого,
Восемнадцать своих отсидел.

Вспоминает ли, как раскулачивал?
Как со щупом искал он зерно?
Ветерок, что траву разворачивал?
Лунный свет, что не светит давно?

1963

ОБЕЗЬЯННИК

Когда, забыв начальных дней понятье
И разум заповедных книг,
Разбойное и ловчее занятье
Наш предок нехотя постиг,

Когда утратил право домочадца
На сонмы звезд, на небеса
И начали неспешно превращаться
Поля и цветники в леса, —

Неравномерным было одичанье:
Вон там не вывелся букварь,
А там из ясной речи впал в мычанье
Еще не зверь, уже дикарь,

А там, где шел распад всего быстрее,
Где был активнее уран,
Властители, красавцы, грамотеи
Потомством стали обезьян.

Еще я не нуждаюсь в длинных лапах,
Но в обезьянник я вхожу
И, чувствуя азотно-кислый запах,
Несчастным выродкам твержу:

«Пред вами — царства Божьего обломки,
Развалины блаженных лет.
Мы, более счастливые потомки,
Идем во тьму за вами вслед».

1963

ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА

Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит, и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу —
Вздох и целую фразу —
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу,
Потому что во всем разлита —

В старике, прищемившем
Левантийские четки
Там, где брызги фонтана летят,
В малыше, устремившем
Свой пытливый и кроткий,
Умудренный страданием взгляд.

Будто знался он с теми,
Чья душа негасима,
Кто в далеком исчез далеке,
Будто где-то в эдеме
Он встречал серафима
С ереванскою розой в руке.

1965

ВОЖАТЫЙ КАРАВАНА

Подражание Саади

Звонков заливистых тревога заныла слишком рано, —
Повремени еще немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине,
А я кричу, и крик безумца — столп огненный
в пустыне.

Из-за нее, из-за неверной, моя пылает рана, —
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова?
А, впрочем, если скажет слово, она обманет снова.

Зачем звенят звонки измены, звонки ее обмана?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

По-разному толкуют люди, о смерти рассуждая,
Про то, как с телом расстается душа, душа живая.

Мне толки слушать надоело, мой день затмился
ночью:
Исход моей души из тела увидел я воочью!

Она и лживая — желанна, и разве это странно?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

1966

МОИСЕЙ

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям, —

Я шел. И грозен и духовен,
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.

1967

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплакав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

1967

РАЗМЫШЛЕНИЯ В САРАЕВЕ

Мечеть в Сараеве, где стрелки на часах
Магометанское показывают время,
Где птицы тюркские — в славянских голосах,
Где Бог обозначает племя,
Где ангелы грустят на разных небесах.

Улыбка юная монаха-босняка
И феска плоская печального сефарда.
Народы сдвинулись, как скалы и века,
И серафимский запах нарда
Волна Авзонии несет издалека.

Одежда, говоры, базары и дворы
Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,
Столпотворения последние костры.
Иль не един разноплеменный
Сей мир и все его двуногие миры?

На узкой улице прочел я след ноги
Увековеченный,— и понял страшный принцип
Столетья нашего, я услыхал шаги
И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских школ
Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Тогда-то ожили понятие вождей,
Камлание жреца — предвиденья замена,
Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,
    Что мы вернулись в род, в колено,
Сменили стойбищем сообщество людей...

Всегда пугает ночь, особенно в чужом,
В нерусском городе. Какая в ней тревога!
Вот милицейские машины за углом,
    Их много, даже слишком много,
И крики близятся, как равномерный гром.

Студенты-бунтари нестройный режут круг
Толпы на площади, но почему-то снова
К ней возвращаются. Не силу, а недуг
    Мятежное рождает слово,
И одиноко мне, и горько стало вдруг.

1968

Гладит бога, просит, чтоб окрепла,
Женщина, болящая проказой,
Но поймет ли, что такое лепра,
Этот идол, крупный и безглазый?

Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,
Горяча земля и нелюдима,
И смеются люди каравана,
По всему видать, — из Мицраима.

Только мальчик в стираном хитоне
Слез с верблюда на песок сожженный,
И его прохладные ладони
Ласково коснулись прокаженной.

Он сказал: «Не камню истукана, —
Это Мне слова ее молений».
И пред Богом люди каравана
Радостно упали на колени.

1969

* * *

Как ты много курила!
Был бессвязен рассказ.
Ты, в слезах, говорила
То о нем, то о нас.

Одинокие тучки
Тихо шли за окном.
Ты тряслась, как в трясучке,
На диване чужом.

Комнатенку мы сняли,
Заплатили вперед,
Не сказали, но знали,
Что разлука придет,

Что на лифте взберется
На десятый этаж,
И во всем разберется,
И себя ты предашь,

И, со мною не споря,
Никого не виня,
С беспощадностью горя
Ты уйдешь от меня.

1969

СТРАХ

Поднимается ранний туман
Над железом загрезивших крыш, —
Или то не туман, а дурман,
От которого странно грустишь?

Ты и шагу не можешь ступить,
Чтоб на лавочку сесть у окна, —
Или хочется что-то забыть,
А для этого память нужна?

Иль вселенной провидишь ты крах
И боишься остаться одна,
Иль божественный чувствуешь страх,
А для этого смелость нужна?

Все погибнет — и правда, и ложь —
В наступающем небытии,
Но боишься, что ты не умрешь,
Ибо гибели нет для любви.

1969

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Персики в Эчмиадзине
Цветом цветут фиолетовым.
Свод над землею синий,
Как над Синайской пустыней.
Ряса католикоса
Цветом цветет фиолетовым.
Медленно, многоголосо
Звон поминальный вознесся:

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Страшная годовщина
Страшной народной гибели.
В церкви Эчмиадзина —
Слово Божьего сына.
Поровну мы разделим
Тоненькие опресноки.
Выйдем из храма с весельем,
В поле траву расстелим.

Жертвенного барана
Мы обведем вкруг дерева.
В сердце — вечная рана,
А земля нам желанна.
Все мирозданье в расцвете,
Все непотребное — изгнано,
Только и есть на свете —
Дети, дети, дети,

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Боже, к твоим коленям
Я припадаю с моленьем:
Да оживут убиенные
В этом саду весеннем!
В нашем всеобщем храме
Да насладятся весело
Всеми твоими дарами!
С нами, с нами, с нами —

Хлеб, виноград, Господь,
Хлеб, виноград, Господь.

1972

КОМИССАР

Торжествовала власть, отбросив
И опрокинув Колчака,
И в Забайкалье стал Иосиф
Работать в органах Чека.

Он вызывал к себе семейских,
Допрашивал, и подлый страх
Внушал им холодок в еврейских,
Печально-бархатных глазах.

Входил он в души староверок
Предвестием Господних кар,
Молодцеватый недомерок,
Длинноресничный комиссар.

Мольбы выслушивал устало,
Сжимая кулачок у рта.
Порой губкомовцев смущала
Его святая простота.

Каким-то попущеньем странным
Он выжил. И на склоне дней
В Сибирь приехал ветераном
На полстолетний юбилей.

В глазах — все той же грусти бархат,
И так же, обхватив сучок,
Туда, где свет в тайге распахнут,
Трясясь, глядит бурундучок.

1973

ПОСРЕДИНЕ ЗАПРЕТКИ

Я прочел сохраненные честью и чудом листы —
Арестанта записки:
«В этом мире несчастливы только глупцы и скоты», —
Вот завет декабристский.

Я пройду по земле, как проходит волна по песку,
Поглотив свою скорость.
Сам довлея себе, я себя самого извлеку,
Сам в себе я сокроюсь.

Мне, кто внемлет владыке времен, различать
недосуг —
Где потомки, где предки.
Может быть, я умру хорошо, и убьют меня вдруг
Посредине запретки.

1973

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

О это море, колыбель изустных
Повествований, хроник простодушных,
О Понт Эвксинский, после захолустных,
Степных местечек и закатов душных!
Великолепен мир, когда он целый,
Хотя и составной, и виден глазу
Не в перекрестье ниточек прицела,
А широко, со всех сторон и сразу.

Мне хорошо с тобою, ветр соленый,
С Европой настоящей и не старой,
С атлантами, поднявшими балконы,
С театром у приморского бульвара.
По улицам, бегущим вниз, иду я
Наверх, легко дышу нектаром юга,
И, каменного герцога минуя,
Я приближаюсь к центру полукруга.

Строенья в стиле греческих колоний,
Дух Генуи в стенах полуразвалин,
И тот же известняк, что в Вавилоне, —
Он так же темен, порист и печален.
Бедны полупустые магазины,
Но где-то есть, я слышал, барахолка.
Все по душе мне: шумные румыны,
У церкви — старенькая богомолка...

Фурункулезный, круглый ростбиф-наци, —
Мне обер дал сегодня увольненье.
День без придирок, желчных ламентаций,
И ожиданья трезвое волненье.
С фамилией, на Вавилон похожей,

Какой-то русский написал занятно
О здешних нравах... Кто же я? Прохожий?
Завоеватель? Мутно, непонятно,

И если правду говорить, трусливо,
Ничтожно я живу. И город вскоре
Окончится, и слева, вдоль обрыва,
Рассердится невидимое море.
А справа — кладбище, тропа к спасенью.
Спят мертвые, убитые не нами.
Надгробья у стены, под мирной сенью,
Испещрены чужими именами.

Я не могу прочесть, но я их знаю, —
Те буквы, по которым наш Спаситель
Читать учился в мастерской отцовской,
А мать месила тесто и порою
Его кудрей касалась локотком.
О горе нам, в злодействе позабывшим,
Что убивать нельзя живых, покуда
О мертвых память не истреблена!

1973

Я тоже научился вздор молоть,
Как нынешние рифмачи, и эти
Подробности тускнеют в ровном свете
Потребностей, насущностей, желаний.
Но верьте, я ходил по той планете,
Где ангелы — единственная плоть
Двуногая, где на густой поляне
Беседовали меркнущие лани
С двухмерным очертанием коня,
Где легких красок яркая возня
То отнимала зрячесть у меня,
То внутренним усиливала зреньем, —
Иль, может быть, то было озареньем?

Я начинал блаженно понимать,
Что птица и гнездо, волна и гладь,
И отблеск бабочки, едва приметный,
И клинопись в обличии растенья, —
Не признаки, не знаки, не виденья:
Они вещественны, они предметны!
Умершие по воле Провиденья,
По той же воле ожили опять,
Но жизнью неземною, необычной,
В которой нет ни страсти, ни хотенья,
Которую нельзя и счесть вторичной, —
Иль высшей надобно ее признать?
И ангелы, прекрасные, как звери,
Бытующие в логовищах книг
Иль в откровеньях мифов и поверий,
Не двигались сквозь них иль мимо них,
А разговаривали с каждым бликом,
С живым иероглифом вещества,

Уверенные: это существа
С неповторимым образом и ликом.

Не думал я, что скоро так расстанусь
Со всем, что здесь увидел, — потому-то
Увидел мало. Я заметил странность
У ангелов. Мне показалось, будто
Они боялись, — так же, как в Гоморре,
Где каперс рассыпался, цвел миндаль,
По улицам разгуливала шваль,
Кузнечик тяжелел и тяжелело
Запретное желанье в женском взоре —
Да и в мужском... В томленье и тревоге
Они крылами прикрывали ноги
И ждали сладостно и неумело
Диавола. Давно случилось дело,
Откуда же теперешний испуг?

Ни грешников, ни бесов нет вокруг,
Тиха, красива этих мест особость,
Сияние в сиянье растворилось,
Откуда же у ангелов их робость
И эта безнадежная унылость?
Иль поняли, что бесы не вовне,
Что бесы в них самих растут, томятся
Бездействием, к движению стремятся, —
Тогда-то гаснет разум на войне
И кровью агнца алтари дымятся.
Как жить при пожирающем огне?

Не останавливался взгляд на мне:
Им, брошенным в сей страшный мир Всевышним,
Им, обалделым, я, наверно, лишним
Казался, а меня меж тем влекло
Безвольное всевластье светотени,
Какое-то волшебное стекло, —
Осколки позабытых наблюдений.

Здесь было то, что я видал когда-то:
Нет, не тела и даже не дела,
А, скажем, смех австрийского солдата,
В плену не унывавшего хорвата,
Иль дворниковы бляха и метла.
Мне кванты света память принесла,—
И друга юности я вижу снова,
Беспаспортного, умного, дурного,
Чья хата — полуночные вагоны
Да пригородный холод заоконный,
Вокзалы развороченной Москвы
Да лагерь, вбитый в оболонь мордвы,
Где он узнал впервые речь травы,
Которая сложней стихов и шахмат,
И то, как люди пахнут, люди чахнут,
Потом самим себе копают рвы.
Со мной всегда и русость головы,
И беглая, надменная усмешка.
Так усмехался и другой поэт,
Гневливый мот, печальный сладкоежка...

Еще блистает из наземных лет
Мне вывеска: «Гофре, плиссе, мережка».
А вышивальщик не терпел зеленых,
Ни белых, ни Петлюр и ни Буденных,
Ни конных, ни матросов, ни пехоту.
Был недоволен губчекой кустарь:
«Грабеж! Они хватают на работу!
Чтоб стало хорошо, нам нужен царь!»
Вы тоже здесь? Вы здесь, мосье Дегтярь?
Ах, впрочем, вас убили. Там, на бойне.
Вы думали, что немцев ждать спокойней —
С пятью-шестью соседями — на даче:
От моря далеко, и недостачи
В продуктах не предвидится, горячий
Степной песок, чебрец, полынь и мак,
А немец — он культурный, не босяк.

Ну, будет гетто. Чем же хуже гетто,
Чем это? Боже мести и завета,
О сделай так, чтобы погибло это!

И там, как здесь, тогда кончалось лето,
И так же было тихо, но иной
Была земля объята тишиной.
Все то, что было чем-то, становилось
Ничем,— трава, песок, улыбка, вздох.
Казалось, город онемел, оглох
И время навсегда остановилось
Для нескольких семейств. Но так казалось.
День незаметно убывал, как жалость.
А что же каждый говорил на даче
Себе, друг другу в долготе ночей?
Что сделали бы жертвы при удаче?
Могли ли превратиться в палачей?

Их даже и не выдали: к участку
Направились, как будто их вело
Заклятье или рабье ремесло —
Обожествлять приказ, указ, указку.
Они пошли,— сперва Преображенской,
А после, повернув, Херсонским спуском.
Прелестный город стал чужим, нерусским.
Пахнуло далью полудеревенской,
Лиманами... Они не взяли маму
К себе на дачу,— мол, не хватит места,
К тому же мама из другого теста,
И без нее, расстрелянные, в яму
Они легли... Теперь и мама с ними —
Спокойными, иными, неземными.

Акация ли с нашего двора,
Седа, и большеглаза, и добра,
Иль мама вдруг со мной заговорила:

«Сынок, проверь: я нашу дверь закрыла?
Не то, не то... А как моя могила
На Востряковском? Все не то, не то...
Не надо думать, будто мир — Ничто:
Мы — всё, и мы во всем, и все есть в нас.
Ты полюбил, сынок? Ну, в добрый час:
Уже не молодой, а в первый раз.
Как долго продолжалась к ней дорога!
Она похожа на меня немного?
Вот потому ты с ней не разминулся!»
И я рукой седых цветков коснулся:
«Любовь есть Бог. А разве можно Бога
В последний раз иль в первый раз любить?
Я вспомнил то, что пожелал забыть.
Я не пришел к любви, — я к ней вернулся».

1974

Покуда всемирный Фердыщенко
Берет за трофеем трофей,
Уже ты на лавры не заришься,
А только бессмысленно старишься,
Мещанка, острожница, нищенка
Дворянских, мужичьих кровей.

Куда как ликующей мнимости
Слабей непреложность твоя,
А все ж норовишь ты упрочиться,
То плакальщица, то пророчица,
То ангел из дома терпимости,
То девственный сон бытия.

Строка тем косней, чем мгновеннее,
А крылья — неспешной даны.
Лишь в памяти зреет грядущее,
Столь бедно и глухо растущее,
И ты уничтожишь забвение
Дыханьем вселенской весны.

1975

* * *

Когда, отбредя, сей вертеп я оставлю глобальный,
Я знаю, что ты не войдешь на костер погребальный,

Как все, ты найдешь утешение поздно иль рано:
Душевная рана еще не смертельная рана.

Но все же в тебе я останусь: осенним ли спором,
Движеньем, привычкой, а то и словцом остроперым,

И вспомнишь ты боль моего обожженного взгляда,
А большего мне, если правду сказать, и не надо.

1975

ВРЕМЯ

Разве не при мне кричал Исайя,
Что повергнут в гноище завет?
Не при мне ль, ахейцев потрясая,
Сказывал стихи слепой аэд?

Мы, от люльки двигаясь к могиле,
Думаем, что движется оно,
Но живущие и те, кто жили, —
Все мы рядом. То, что есть Давно,

Что Сейчас и Завтра именуем, —
Не определяет ничего.
Смерть есть то, чего мы не минуем.
Время — то, что в памяти мертво.

И тому не раз я удивлялся,
Как Ничто мы делим на года;
Ангел в Апокалипсисе клялся,
Что исчезнет время навсегда.

1975

ЧЬЯ ЗВЕЗДА

Как беспричинно вздрагивает веко,
На синем небе вздрогнула звезда,
Уязвлена, дерзка и всем чужда,
Как рыжая Кармен Тулуз-Лотрека.

Ужели здравомыслия опека,
Грехов и добродетелей вражда —
Ничто, и мир действителен, когда
Его рисует озорной калека?

Я тяготел всю жизнь к правопорядку,
Клал крепких правил каменную кладку
И вот лежу в размытом, жухлом прахе.

Так что же, помогли мне мои ляхи?
А мир шумит, как пир, и молода
Больная безрассудная звезда.

1976

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Новую жизнь я начну с понедельника,
Сброшу поклажу ненужных забот,
Тайная вечеря зимнего ельника
К делу и жертве меня призовет.

Все, что душа так испуганно прятала, —
Тихо откроет, по-детски проста,
Первосвященника и прокуратора
Не убоюсь, — ни суда, ни креста.

Землю постигну я несовершенную
И, искупляющей силой влеком,
Следом за нею на гибель блаженную
В белом хитоне пойду босиком.

1976

ИЗ ТЕТРАДИ

Но только тот, кто мыслью был наставлен,
Кто был рукоположен красотой,
Чей стих, хотя и на бумаге правлен,
Был переписан из тетради той,

Где нет бумаги, букв и где страницы
Незримы, хоть вещественней кремня, —
Увидел неожиданно зеницы,
Исторгшие на землю столп огня.

1976

* * *

Господин Весенний Ветер,
Я вас помню молодым,
Вы беседовали весело
С госпожой Акацией.
В нашем городе стояли
Иностранные суда,
И взметались, и сияли
Беспокойные года.

Господин Весенний Ветер,
Вот и стал я стариком,
И давно сожгли захватчики
Госпожу Акацию.
Словно камни под водою —
Онемелые года.
Та, что здесь всегда со мною,
Не вернется никогда.

1976

КРИК ЧАЕК

Семейство разъевшихся чаек
Шумит на морском берегу.
От выкриков тех попрошаек
Прийти я в себя не могу.

Мне вспомнилось: мы хоронили
Жену сослуживца. Когда
Ее закопали в могиле,
Был вечер. А мы и беда

Вступили в автобус последний,
И тут, как проказа, возник,
Из воплей, проклятий, и сплетни,
И ругани смешанный крик.

То стая кладбищенских нищих,
Хмельных стариков и старух,
Кривых, одноногих, изгнивших,
Блудила и думала вслух...

Земля, человечья стоянка,
Открыла ты нам, какова
Изгаженной жизни изнанка,
Где Слово сменили слова.

Во тьме остановки конечной
Уже различаем, какой
Вращается двигатель вечный,
А движет им вечный покой.

1976

* * *

Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится.

Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволье.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная.

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

1976

* * *

Доболеть, одолеть странный страх,
Догореть, докурить сигарету,
Истребить себя, — так второпях
В автомат опускают монету.

Но когда и внутри и вокруг
Обостряется жизни напрасность,
У нее появляется вдруг
Полудетская мрачная страстность.

А потом начинается свет
Где-то исподволь, где-то подспудно,
Мысль прочнеет, как плоть, как предмет,
И волнуется чисто и чудно.

1977

ВОРОН

Что ищет нелюдим,
Кочевник темно-синий
В песках полупустыни,
Где в юрте мы сидим?

Узнал я клюв отвислый
И зоркий, твердый глаз,
Который, полон смысла,
Уставился на нас.

А кто он? Только птица,
Столетний старожил.
«Все в падаль превратится», —
Он искренно решил.

Его смущает ропот
Песков, существ, времен,
Но у него есть опыт,
И нас торопит он.

1977

НА ТОКУ

На току — молотильщик у горной реки,
Остывает от зноя долина.
«Молотите, быки, молотите, быки!» —
Ударяя, свистит хворостина.

И молотят снопы два усталых быка,
Равнодушно шагая по кругу,
Пролетают года и проходят века,
Свой напев доверяя друг другу.

«Молотите, быки, молотите, быки!» —
Так мой праотец пел возле Нила.
Время старые царства втоптало в пески,
Только этот напев сохранило.

Изменились одежда и говор толпы, —
Не меняется время-могильщик,
И все те же быки те же топчут снопы,
И поет на току молотильщик.

1977

Высотные скворечники
Поражены безмолвьем;
Плеяды-семисвечники
Зажглись над их становьем;
И кажется: чуть-чуть привстань,
И ты коснешься света
Луны, пленительной, как лань
На бархате завета.

О ясность одиночества,
Когда и сам яснеешь,
Когда молиться хочется,
Но говорить не смеешь!
Ты царь, но в рубище одет,
И ты лишился власти,
И нет венца, и царства нет,
А только счастье, счастье!

1977

ГОРОД ХВОЙНЫХ

Я иду навстречу соснам
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным
День разлил свою росу.

Перебежчик-кот мурлычит
Обо всем и ни о чем.
Город хвойных здесь граничит
С человеческим жильем.

За единственное яство
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства
Пастыря и алтаря.

Я вступаю в город хвои
Как изгой, инаковер,
Одолев свое былое
И языковой барьер.

Кто же станет придираться,
Попрекая чужака,
Если сможет затеряться
В вавилонах сосняка?

1977

МГНОВЕНЬЕ

Пустившись вечером в дорогу,
Меж темных скал увидел неба
Я головокружительный кусок.
Как будто идолищу-богу,
Молились горному отрогу
И разжигали звезды алтари.

Младенческое было что-то
В сверкании вечерней бездны,
И мир мне показался так высок,
Что с плеч моих сошла забота,
Я стал пригоден для полета,
Как тот, что сообщил благую весть.

Нездешнего прикосновенье
Ожгло меня, и уходило
Оно безмолвно, как песок в песок,
Но я запомнил то мгновенье,
Как помнят боль и откровенье,
И милую отцовскую ладонь.

1977

Заснуть и не проснуться,
Пока не прикоснутся
Ко мне твои ладони
И не постигну я,
Что в мир потусторонний
Мы вырвались из плена
Земного бытия.

Развеем, новоселы,
Наш долгий сон тяжелый
О том, что был я грешен,
И перестану я,
Твоей душой утешен,
Разгадывать надменно
Загадку бытия.

1977

ПОРТ

Вблизи владений Посейдона,
В степи таинственно простерт,
Вдоль влаги иссиня-зеленой
Огромный современный порт.

Но, лик подняв в курчавой пене
Над призрачностью якорей,
Не видит кранов и строений
Всевечный властелин морей.

Пред ним все так же неизменно
Беззвучен, пуст простор степной,
Лишь непослушная сирена
Хохочет, прячась за волной.

1977

КОНЬ

Наросло на перьях мясо,
Меньше скрытого тепла,
Изменилась у Пегаса
Геометрия крыла.

Но пышна, как прежде, грива,
И остер, как прежде, взгляд,
И четыре крупных взрыва
Под копытами дымят.

Он летит в пространстве жгучем,
В бездну сбросив седока,
И разорванным созвучьем
Повисают облака.

1977

ПУТЬ К ХРАМУ

Среди пути сухого
К пристанищу богов
Задумалась корова
В тени своих рогов.

Она смотрела грустно
На купол вдалеке
И туловище грузно
Покоила в песке.

Далекий дым кадильниц,
И отсвет рыжины,
И томность глаз-чернильниц
Вдруг стали мне нужны.

По морю-океану
Вернусь я в город свой,
Когда я богом стану
С коровьей головой.

Там, где железный скрежет,
Где жар и блеск огня,
Я знаю, не прирежут
И не сожгут меня.

Тогда-то я в коровник
Вступлю, посол небес,
Верней сказать, толковник
Таинственных словес.

Шепну я втихомолку,
Что мы — в одной семье,
Что я наперсник волку
И духовник змее.

1977

ИНДИЙСКИЙ ПЕВЕЦ

Овальный, гнутый лист
В прожилках золотых,
Зародыши плодов.
Над ними — нежный свист
Индийского певца,
Сородича дроздов.

Вся жизнь-то прожита
Здесь, на чужой земле,
В саду, где он рожден.
А иволга желта,
О чем она поет,
Не понимает он.

Порой заговорит
Взволнованно, взахлеб,
Но в толк не может взять,
Что чужд его санскрит
Всем этим существам,
И он свистит опять...

1977

УЛИЦА В КАЛЬКУТТЕ

Обняла обезьянка маму,
Чтобы та ей дала орех.
Обняла обезьянка маму,
А дитя обманывать грех.
Убегает тропинка в яму,
Где влажна и грязна земля,
Убегает тропинка в яму,
Как испуганная змея.

Наших родичей куцехвостых
Забавляет автомобиль.
По понятиям куцехвостых
Этот мир не мираж, а быль.
Как вода стоячая — воздух.
И мы тонем в этой воде.
Как вода стоячая — воздух,
Мы не здесь, мы не там, мы нигде.

1981

В ХРАМЕ БОГИНИ КАЛИ

Здравстуй, Кали, жестокая матерь!
По забрызганным кровью камням,
Не молельщик, не жрец, не взыматель,
Я вхожу в твой мучительный храм.

Только что я, козленок, заколот,
Но гляжу в удивленье немом:
Прежней жизни покинувший холод,
Запредельным я греюсь теплом.

Вот раскачиваюсь пред пришельцем
Из полуночного далека
Я — старушечка с высохшим тельцем
И рукой — коготком голубка.

На земле, заболевшей проказой,
В смеси чада и влаги стою,
Весь в грязи, пред тобою, трехглазой,
Но ты видишь ли душу мою?

Погаси во мне память преданья,
С разумением связь разорви,
Дай мне белую боль состраданья,
Дай мне черные слезы любви!

1978

* * *

Я сижу на ступеньках
Деревянного дома,
Между мною и смертью —
Пустячок, идиома.

Пустячок, идиома —
То ли тень водоема,
То ли давняя дрема,
То ли память погрома.

В этом странном понятье
Сочетаются травы
И летающей братьи
Золотые октавы,

Белый камень безликий
Трансформаторной будки
Там, где кровь земляники
Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
Шепоток за стеною,
Между смертью и мною,
Между смертью и мною.

1978

ГРУША ВСПОМИНАЕТ

Нынче прачка, вчера судомойка,
Говорит шепоточком, не бойко,
И слова не срываются с губ, —
Закрепляются прочно и стойко,
Прикрывая единственный зуб:

«А́ немецкий-то полк отступает,
Да еще пред собою толкает
Он детишек, старух, стариков,
А деревня сияет, сияет,
Вся горит посредине снегов.

Получается так: погостили.
Гнали верст двадцать пять — отпустили.
Разбрелись кто куда стар и мал.
А повешенные поостыли,
Их с веревок никто не снимал».

1978

ГОЛОС

Отсюда смотрю на тебя: ты несчастен.
Немолод, не очень здоров, и тетрадь
В столе остывает; не можешь понять,
Что горькому счастью бесстрашно причастен;

Что та, кто в ином воплощенье звездой
Мерцала, — тебя полюбила; что строки,
Как в склеп, заключенные в ящик глубокий,
Еще обладают живой теплотой;

Что глина другая нашлась для сосуда,
Но дух свою прежнюю персть не забыл;
Тобою в прошедшие годы я был;
Тебя, молодого, я вижу отсюда.

1978

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

Белеет над Псковом вечерняя пятница.
В скворешне с мотором туристы галдят.
Взяв мелочь привычно, старуха-привратница
Меня почему-то ведет через склад.

На миг отказавшись от мерзости всяческой,
Себе самому неожиданно странен,
Я в маленькой церковке старообрядческой –
Как некий сомнительный никонианин.

На ликах святых, избежавших татарщины,
Какой-то беззвучный и душный покой.
А самые ценные, слышал, растащены
В коммунные годы губернской рукой.

Ужели же церковка эта — отверстие
В эдемских вратах? И взыскующим града
Вползти в него может помочь двоеперстие?
Иль мы позабыли, что ползать не надо?

Я вышел. Я шел вместе с городом низменной
Дорогой и вечера пил эликсир.
Нет Бога ни в каменной кладке, ни в письменной,
И в мире нет Бога. А в Боге — весь мир.

1978

В ПУСТЫНЕ

Как странники, в возвышенном смиренье,
Мы движемся в четвертом измеренье,
В пустыне лет, в кружении песков.
То марево блеснет, то вихрь взметнется,
То померещится журавль колодца
Среди загрезивших веков.

Идем туда, где мы когда-то были,
Чтоб наши праотеческие были
Преображали правнуки в мечты,
Нам кажется, что мы на месте бродим,
Однако земли новые находим,
Не думая достичь меты.

Всегда забудется первопроходец.
Так что же радует в пути? Колодец.
Он здесь, в пустыне, где песок, жара.
Вдруг ощущаешь время, как свободу,
Как будто эту гнилостную воду
Пьешь из предвечного ведра.

1974

Морская пена — суффиксы, предлоги
Того утраченного языка,
Что был распространен, когда века,
Теснясь в своей космической берлоге,
Еще готовились существовать.

А мы и не пытаемся понять,
Что значат эти суффиксы, предлоги,
Когда на берег падают пологий
И глохнут в гальке дольнего литья,
Но вслушайтесь: нас убеждает море,
Что даже человеческое горе
Есть праздник жизни, признак бытия.

1978

У ВРАТ

Когда я приникну к эдемским вратам
И станут меня вопрошать как пришедшего,
Быть может, на миг я задумаюсь там,
Но быстро пойму, что ответить мне нечего.

А как я хотел говорить! Я хотел
Еще еле слышное,— только одно еще!—
Исторгнуть дыханье из каменных тел,
Извлечь теплоту из застывшего гноища.

О как я хотел говорить!

1979

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

О том, как был с лица земного стерт
Мечом и пламенем свирепых орд

Восточный град, — сумел дойти до нас
Короткий выразительный рассказ:

«Они пришли, ограбили, сожгли,
Убили, уничтожили, ушли».

О тех, кто ныне мир поверг во мрак,
Мы с той же краткостью расскажем так:

«Они пришли как мор, как черный сглаз,
И не ушли, а растворились в нас».

1979

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Что ты заводишь песню военну...
Державин

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-Богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте «Старку» по чаркам.
Скоро в дорогу. Скоро награда,
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Голое тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

1981

* * *

Огнь связующий и жаркий,
Молнии двужалый меч,
Скинию потрясший гром —
Превращаются в помарки,
В тускло тлеющую речь
Под беспомощным пером.

В телефоне спрятан сыщик,
И подслушивает он:
Может, вслух я согрешу.
Я же только переписчик
Завещавшего закон:
Он слагает, я пишу.

1981

* * *

Тот, кто ветру назначил вес,
Меру определил воде,
Молнии указал тропу
И дождю начертал устав, —
С тихой радостью мне сказал:
— Никогда тебя не убьют.
Разве можно разрушить прах
Или нищего разорить?

1981

* * *

Я принес вам свои раздумия,
Сны трепещущие свои, —
Отпрыск разума и безумия,
Родич голубя и змеи.

Я принес вам свои крамольности,
Я, пугающийся тюрьмы,
Тихо тлеющий пленник вольности,
Жаром веющий светоч тьмы.

Как я царствовал, раболепствуя,
Как я бедствовал на пиру!
Я принес вам свои молебствия,
Спойте их, когда я умру.

1982

ОСЕНЬ У МОРЯ

Пляж опустел. Волны в солнечных вспышках.
Яркий песок. Сонный толстый рыбак.
Чайки болтливые в белых манишках.
Черное сборище тощих собак.

У рыбака слишком женские груди.
Где теперь скýмбрия? Где камбала?
Старые люди, одесские люди
На лежаке забивают «козла».

Как мне близка их негромкая участь,
И ничего я не знаю свежей,
Чем вопросительной речи певучесть,
Чем иронический смысл падежей.

Юноша, с бедностью южною споря,
Наспех из дома ушел своего
И ничего не нашел вместо моря
И не узнал ничего, ничего.

Как я пришел? Чьей прошел я тропою?
Где разбросал разумения соль?
Жизнь моя, что же мне делать с тобою,
Что с тобой делать, плебейская боль?

Вот и вернулся, так поздно вернулся,
Так холодна в эту пору волна,
Вышел на берег, едва окунулся,
И оглянулся: густа и душна

Туча над морем...

1982

МЕЖДУ МОРЕМ И СТЕПЬЮ

Стебли скудного поля меж морем и степью;
Кукуруза обломана; тучей сплошной
Небо низко склонилось к сухому отрепью
Жестких трав. Наконец-то трамвай — и двойной!

Мне в лицо дышат люди, вагон наполняя.
Вот он дрогнул и двинулся вместе с грозой.
Нет, не ветви касаются стекол трамвая,
Это смерть меня пробует доброй косой.

1982

ЛЕСНОЙ УГОЛОК

Здесь холмик перерезан
Подрубленным стволом.
Ручей пропах железом,
Как человек — теплом.

Как полотенце, мокнет
Шоссе, прибита пыль,
Вот-вот в ветвях зацокнет
Соловушка-бобыль.

Не каждому приятен
Сей беспредельный лес,
Да и не всем понятен
Его удельный вес.

Здесь и трава, и всхолмье,
И дикий блеск воды, —
Не темное бездомье,
А свет всея звезды.

А если глубже вникнуть,
То в прели и в грязи
Здесь может свет возникнуть
Всея моей Руси.

1984

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

А когда стоял я над прудом
Возле рынка, в шуме городском,

Мне свое значенье открывал
Лебединой шеи интеграл.

Влажную украсивший тетрадь,
Этот знак не всем дано понять.

Он вобрал в себя и пошлый быт,
И все то, что мыслит и скорбит,

И с больной уходит головой
Черный лебедь в серый домик свой.

1984

* * *

Вот и новый день глаза смыкает,
И его одела пелена,
Но в душе моей не умолкает
Негодующая тишина.

Немоты надменная основа,
Ты прочнее, чем словесный хруст,
Но как трудно, стыдно прятать слово,
Вырваться готовое из уст.

1984

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АВРААМА

Табунились табуны,
И стада ягнились,
И сияющие сны
Каждой ночью снились.

К небу воздух восходил
Свежим фимиамом,
И явился Михаил
Перед Авраамом:

«Ныне Бог меня послал
За твоей душою».
Но старик еще желал
Жизнью жить земною.

Был он крепок, был не скуп,
Всех встречал с радушьем
И любил мамврийский дуб
Над шатром пастушьим.

Он сказал: «Я отдохну
Под Господним кровом,
Но сперва на мир взгляну,
Сотворенный Словом».

Михаил простер крыла,
Стала ночь светиться.

На степной простор сошла
Чудо-колесница.

Взвились вестник и старик
Вровень с небесами.
Беспредельный мир возник
Перед их глазами.

И увидел Авраам
Сверху, с колесницы,
Ложь, разбой, и блуд, и срам,
Плахи и темницы.

Вскрикнул: «Боже! Здесь позор!
Мир живет в безверье!
На людей низвергни мор,
Пусть сожрут их звери!»

Но раздался Божий глас:
«Знай, в иных началах
Я миры творил не раз,
Тут же разрушал их.

То, что Словом создавал,
Было бессловесным.
Дух себя не узнавал
В облике телесном.

А вот этот мир — хорош,
Ибо в этом зданье
Правде уступает ложь,
Радости — страданье.

Ибо здесь любовь сладка, —
Не страшась броженья,
Пьют из чашечки цветка
Мед воображенья».

1984

* * *

Чистое дыханье облаков
Цвета трав, уже зеленоватых,
Но смущенных, будто виноватых
В грязной рвани, в ржавчине судков,

В загородных — за зиму — отбросах.
Но еще дано листам травы
Весело купаться в летних росах
И занять у неба синевы.

Да и я свободен пить из вешней
Чаши этой средней полосы,
А еще вкусить бы воли внешней,
Пусть не больше капельки росы.

1984

ЗИМНИЙ ЗАКАТ

Вот я вижу тебя сквозь очередь,
Где в былое пятятся годы,
Соименница дерзкой дочери
Сандомирского воеводы.

Как привыкла ты, пообедали
В метростроевской мы обжорке,
На закате зимнем проведали
Те, что помнила ты, задворки.

Вот любуемся мы домишками
И церквами Замоскворечья,
На тебе, как на князе Мышкине,
Тонкий плащ топорщил оплечья.

О декабрьской забыв суровости,
Мне своим говорком московским
Сообщала старые новости
О Бальмонте, о Мережковском.

Притворились, что не заметили,
Как над нами кружится стужа.
Где присяжные? Где свидетели?
Где Париж? Где погибель мужа?

А порой от намека слабого
Поднималась надменно бровка...

Далека, далека Елабуга
И татарская та веревка.

1984

СТАДО

Робко вздыхают березы,
Сонно плывут облака,
Но беспощадные грозы
Нам обещает река.

То пропадая в подлеске,
То выбегая на луг,
Сыплет сердитые всплески,
Будто бы думает вслух.

От прорицающей речки
По луговой крутизне
В страхе уходят овечки,
Чтобы прижаться ко мне.

Но от меня ли подмоги
Ждать вам, родные мои?
Сам я не знаю дороги
И не ищу колеи.

Что мне напомнили эти
С дикой надеждой глаза?
Чьи мне мерещатся дети?
Умерли чьи голоса?

1984

ПРИМЕЧАНИЕ К ФОРМУЛЕ ЭЙНШТЕЙНА

Мою кобылу звали Сотка,
А привела ее война.
Светло-саврасая красотка,
Она к тому ж была умна.

Ни разу ночью не заржала
В станицах, где засел чужой,
А надо было, так бежала,
Как будто брезгуя землей.

Прищурив глаз, орех свой грецкий,
Она подмигивала мне, —
Мол, понимает по-немецки
В зеленотравной западне.

Верхом на ней, светло-саврасой,
Я двигался во тьме степей,
Но был не всадником, а массой,
Она — энергией моей.

1984

НИЩИЕ В ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ

Капоры белиц накрахмалены,
Лица у черниц опечалены,
Побрели богомолки.
Помолиться — так нет иконочки,
Удавиться — так нет веревочки,
Только елей иголки.

Отгремели битвы гражданские,
Богатеют избы крестьянские,
Вдоволь всяческой пищи,
Только церковка заколочена,
Будто Русь — не Господня вотчина,
А чужое жилище.

Зеленеют елей иголочки,
Побираются богомолочки,
Где дадут, где прогонят,
И стареют белицы смолоду,
Умирают черницы с голоду,—
Сестры в поле хоронят.

1984

МАЛИНОВКА

Над грубым гуденьем вагонов
Сияющий храм вознесен,
Но вместо малиновых звонов —
Малиновки сдавленный звон.

О чем же грустишь ты, зорянка?
О том, что покорствуем зря?
О том, что пустая приманка —
Лесное тепло сентября?

О том, что хочу не другую,
А эту дорогу топтать,
И вместе с тобою тоскую
О дерзости громко роптать.

1984

* * *

Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?

О если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним...

1984

КАМЕНЬ

Я камень запомнил средь горных дорог.
Там травы не знают, что где-то их косят.
Он был одинок, как языческий бог,
Которому жертвы уже не приносят.

Он был равнодушен и к бегу машин,
И к тихим движеньям стареющих мулов,
При свете дневном оставался один
И ночью, в мерцании звезд и аулов.

Но было ведь, было: молил его жрец
От глада и мора избавить селенья,
И жертвенник он вспоминал, и овец,
И сладостный запах священного тленья.

Столетья, как стадо, шли мимо него,
Но их замечать не хотел он упрямо,
Когда облака обступали его,
Он думал, что это развалины храма.

1984

В ЦАРСТВЕ ФЛОРЫ

В стране деревьев и цветов лесных
Я думаю о существах иных.

Я думаю о близких существах,
Осмысленных в цветах и деревах.

Мне кажется, что легкая сосна —
Та девочка, чья южная весна

Пролепетала в отроческий час
Мне первый и пленительный отказ.

Мне кажется: акация, как мать,
Откинула серебряную прядь.

И говорят мне белые цветы:
«Все правильно, мой мальчик, сделал ты».

Я вижу старый искривленный дуб.
Рисунок узнаю отцовских губ.

Еще мгновенье — он уйдет во тьму,
Сейчас не хватит воздуха ему.

А кто стоит среди кустов и трав,
А сам, как лес, как целый лес, кудряв?

И ствол его, до самой купины
Обугленный дыханием войны,

Навеки, прочно, в эту землю врос,
Ничто ему ни вьюга, ни мороз,

Всегда во мне, поныне с давних пор,
Исследующий, требующий взор.

Одетое душистою листвой,
Мне деревце кивает головой,

И я на голос двигаюсь ольхи,
Читающей безумные стихи,

И жаром араратского огня
Два разных глаза веют на меня.

1984

ДЕРЕВЕНЬКА

Хорошо белеют вдоль дорожки
Донника серебряные брошки,
Липу облетают мотыльки,
И большое облако в тумане,
Как беременная в сарафане,
Пухнет в мутном зеркале реки.

Деревеньку дьявол, что ль, пометил?
Утро здесь не возвещает петел,
И средь лип — ни всхлипов и ни снов,
Не звенит в коровнике подойник,
И молчит, как в саване покойник,
Длинный ряд пустых домов.

1984

ЯНВАРЬ, НОЧЬ

Тяжелые белые шубы медвежьи
На елях развесил Январь,
И звездочка в небе, в бездонном безбрежье,
Горит, как на барже фонарь.

Я чужд этой ночи, и логову елей,
И тропке, ползущей в снегу,
И лишь фонарю, что горит еле-еле,
Открыть свою тайну могу.

Не знает зима, как ей быть с посторонним —
Со мной, с огоньком надо мной.
Мы вместе угаснем, мы вместе утонем
В безбрежной пучине ночной.

1984

* * *

Вспоминаются финские скалы
У холодных и медленных вод,
А над ними от ветра усталый
И от северных битв небосвод.

Вспоминаются финские храмы
С зимним садом, с стеклянной стеной,
Чтобы сосны, как чинные дамы,
В храм входили из чащи лесной.

Вспоминается порту причастных
Грузных чаек настойчивый крик
И с огромным количеством гласных
Неуступчивый финский язык.

1984

* * *

Над речкой взбухли ватные химеры,
К плетню прижался новый «Запорожец»,
В деревне лишь одни пенсионеры
Да несколько приезжих детских рожиц.

Березы, как солдатские невесты,
В сторонке собрались, в ячменном поле,
И громко повторяют анапесты
Некрасова ли, Анненского, что ли.

И радостно мне знать, что неизменны,
Какие б ни безумствовали грозы,
И анапестов звон, и хлеб ячменный,
И во поле стоящие березы.

1984

ОТРАЖЕНИЕ

Вовек не ведавшая груза,
Чуть холодна, но не строга,
Как властно и спокойно Руза
Разъединяет берега.

Стоят колодезные срубы,
С ней не забывшие родства,
Над ней — столетних фабрик трубы,
Тысячелетние слова.

Ее обманчивая милость
Есть в ощущении моем,
Что ничего не изменилось
В краю негромком и родном,

Что я, сегодня отраженный,
В ней вижу гордое вчера,
Что я стою над ней, рожденный
Для битвы, жертвы и добра.

1984

ПТИЦА

Посвист осенний во мгле — Кудеяр-атаман
Кличет своих сотоварищей хищных, когтистых,
Движется лес, приближается к дому туман,
Пряча в себе очертанья деревьев безлистых.

Птица в окно ударяет, стучится в стекло,
Форточку я отворяю, и птица влетает,
Ей хорошо на ладонях моих, ей тепло,
Умные черные глазки от счастья блистают.

Ей хорошо в домовитом нагретом углу,
Крыльям бессильным нужна этих бревен ограда.
Страшно вернуться назад, в ястребиную мглу,
Воля страшна, потому что ей воли не надо.

1984

* * *

Коровье дремлет стадо
На травке луговой,
Один бычок безрогий
Мотает головой,
И от реки прохлада
Струится вдоль низин
Проселочной дорогой,
Где царствует бензин.

Как телка, неподвижен
Железный ржавый лом.
Гараж и мастерские
Рождают мнимый гром.
К животным он приближен,
Но не пугает их,
Хоть голоса людские
Грубее луговых.

Я вспомнил, что когда-то
Я тоже был бычком
И на траву, безрогий,
Ложился я ничком.
Громов и их раската
Понять хотел я суть,
Вникая в гул тревоги
И не страшась ничуть.

1984

ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ

Надвратная церковь грязна, хоть бела,
На стенах собора — приметы ремонта,
А вспомни, как травка здесь кротко цвела,
Звенели в три яруса колокола
И день откликался на зов Ферапонта.

А вспомни, как двигались на монастырь
Свирепость ордынца и жадность литвина,
Но слушала вся подмосковная ширь,
Как пастырь настраивал чутко Псалтырь,
И ей подпевали река и долина.

Все вынесли стены — и язву, и мор,
И ор петушиный двенадцати ратей,
Но свой оказался острее топор, —
Стал пуст монастырь и замолкнул собор,
Не шепчет молитв и не хочет проклятий.

Зачем ремонтируют? Будет музей?
Займут помещенье под фабрику кукол?
Сюда не идет на поклон мукосей,
И свой оказался чужого грозней, —
Хмель вытравил душу иль дьявол попутал?

Когда поднимается утром туман
Иль красит закат полосу горизонта,
Ревет над рекой репродуктор-горлан,
И отклика нет у заречных крестьян
На зов Ферапонта, на зов Ферапонта.

1984

* * *

Присягаю песенке пастушьей
Около зеленого холма,
Потому что говорит мне: «Слушай
Отзвуки Давидова псалма».

Присягаю выспреннему слогу,
Потому что по земле иду
В том саду, где Бог молился Богу,
И цветы сияют в том саду.

Присягаю ночи заполярной,
Движущейся, может быть, ко мне,
Потому что вижу свет нетварный
В каждом пробуждающемся дне.

1984

ПРАВДА

Рядится правда, нам сверкая
То остромысленным пером,
То побасенкой попугая,
То старой притчи серебром.

То выкажет свою натуру
Из-под дурацких колпаков,
А то по молодости, сдуру,
Сболтнет нам сорок сороков.

Но лучше всякого глагола
Хитроискусной суеты
Усталый облик правды голой,
Не сознающей наготы.

1985

В НИЩЕЙ ХАТЕ

В нищей хате, в Назарете...
Сологуб

Женщины в синих рубашках стоят у колодца.
Светится скупо внизу Назарет.
Вечер сухою и колкой прохладою льется,
Но кое-где еще глиняный город нагрет.

Женщина с полным кувшином спускается к хате.
Плотник ячменные хлебы испек.
Уголь истлел в очаге, а над люлькой дитяти
Через открытые двери сгустился восток.

Было б неплохо купить для светильника масло, —
Где там: гроша не найдут бедняки.
Но, чтоб младенец без страха заснул, чтоб не гасла
Нищая хата, слетелись в нее светляки.

1985

НАЧАЛО ЛЕТА

Дочь забудет, изменит жена, друг предаст, —
Все проходит, проходит...
Но ошибся безжалостный Экклезиаст,
Ничего не проходит.

Вновь рождается дочь, чтоб забыть об отце,
Вновь жена изменяет,
Снова друг предает, — и начало в конце
Ничего не меняет.

Но останется в сердце твоем и моем
То, что здесь происходит,
Ибо призрачна смерть и мы вечно живем.
Ничего не проходит.

Потому что осмысленно липа цветет,
Звонко думает птица,
Это было и будет всегда и уйдет,
Чтобы к нам возвратиться.

1985

* * *

Есть ли жизнь в гончарной мастерской,
Там, где глиняные существа
Обладают внешностью людской,
Легкой забавляются строкой,
Говорят ненужные слова.

Но от них я славы не хотел
(И, быть может, в этом мой порок),
Я мечтал избрать другой удел, —
Стать душою для бездушных тел
С помощью скрепленных рифмой строк.

А строка моя произошла
От союза боли и любви,
Чтоб войти в бездушные тела,
Чтобы чудно глина ожила
От союза боли и любви.

1985

ВОР

Хороши запевалы, — атаманы, пожалуй, не хуже,
Чаша ходит по кругу, а сабли остры,
О Димитрии первом, об убитом Маринином муже
Величальную песню поют гусляры.

У Марины походка — сандомирской лебедушки
танец,
Атаманов ласкает приманчивый взор.
О себе эту песню нынче слышишь, второй
самозванец,
Но всегда будешь первым, наш тушинский вор.

А тебя порубают, — будет третий, четвертый
и пятый,
Где ковыль задернеет, там хлебу шуметь,
Но останешься первым, и до самой последней
расплаты
Величальную песню тебе будут петь.

Отпоют тебя степи, обезводятся волжские срубы,
Ворон каркать привыкнет, что царствует вор.
Над башкой твоей мертвой не померкнут
Маринины губы,
Лебединая шея, колдующий взор.

1985

В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ

1. ДНЕМ

В долине плоской, как доска,
Чернеют овцы и собаки —
Начертанные кем-то знаки
Неведомого языка.

Песок и солнце жгут их колко,
А я пытаюсь их прочесть,
Забыв про шифер и про жесть
Степного пыльного поселка.

Вдруг клинописному письму
И я сумею научиться,
Но смысл, который в нем таится,
Я не открою никому.

2. НОЧЬЮ

О степь калмыцкая с двоякой
Субстанцией ночной,
Когда братаются два мрака:
Воздушный и степной.

Здесь образ неба так наглядең,
Как будто степь видна,
В нем столько же бугров и впадин,
Как у степного дна.

Здесь понял я, что мир загробный
Земным стезям сродни,
Здесь звездам — редкие — подобны
Степных жилищ огни.

Здесь видел я, как вспыхнул разум
Небесной чистоты
В том желтоскулом, узкоглазом,
Который гнал гурты.

1985

ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА

Поздней ночью проснусь-ужаснусь:
Тьму в окне быстрый ветер косматит,
Все, чего я душой ни коснусь,
Однотонно меня виноватит.

То ли речи дождя мне слышны
В шуме желтых осенних лохмотьев?
Два окна, как две жгучих вины,
Зажигаются в доме напротив.

Выше — юности глупой вина,
Ниже — та, что пришла с лихолетьем,
И горят в черноте два окна
На шестом этаже и на третьем.

1985

* * *

Воды вдоль тихих берегов
Охриплая певучесть,
Свеженаметанных стогов
Щемящая пахучесть,

И зарождающихся гроз
Изустная словесность,
И заколдованных берез
Влекущая безвестность,

И на холме — вдали — музей,
Где звон блаженно длился,
Где царь тишайший Алексей
Михайлович молился,

И все, что обнимает взгляд,
Преобразясь в прозренье,
Со мною движется назад
В четвертом измеренье.

1985

24 ИЮНЯ 1985 ГОДА

Я не был ни ведомым, ни вожатым,
Ни каменщиком вольным, ни в охранке,
И никакой патологоанатом
Не станет изучать мои останки.

Обрел я в жизни лишь одну удачу, —
По-детски веруя, марать бумагу
И знать, что и на небе не утрачу
Траву лесную и речную влагу.

Забыв о глиняном непрочном грузе,
И там босыми легкими ногами
Коснусь голубизны, приближусь к Рузе,
Изогнутой живыми берегами.

И вновь возникнет предо мной складная
Скамеечка и яркий твой купальник,
И вновь пойму, что вам я сопечальник:
Тебе, любовь, тебе, земля родная.

1985

ЛЕШИЙ

Стоит холодное сырое лето.
Мне сквозь туман, сдается, вся видна,
В тулуп нагольный спрохвала одета,
Бессильно-гениальная страна.

Ее мутно-зеленый взгляд мужичий
Не знает сам, о чем его мечта:
Разбойничьей ли ищет он добычи
Иль тишины раскольничьей скита.

Куда ни глянь — поляны, поймы, плеши,
Районной речки медленный поток,
И на ветвях качаясь, смотрит леший
С насмешкой на военный городок.

1985

* * *

Я иду среди лесного гама,
Листья то цепляются, то жгут,
Комары, как нищенки у храма,
С тайной злостью плачут и поют.

Согнут столбик давнего замера,
Где-то рвется птичий голосок,
Да еще вдали везут с карьера
Грузовые чудища песок.

Я ли после двух больниц шагаю
Мокрою, извилистой тропой,
На ходу бессвязное слагаю,
Самому себе теперь чужой?

Это я ли, пятигодовалый,
Гордый разуменьем букваря,
Видел садик около вокзала
И приезд последнего царя?

Я ли дрался под водою в споре
С драчуном таким же, как и я,
За монетку, брошенную в море
Юнгою с чужого корабля?

Я ли смерти, может быть, навстречу
Шел в степной ставропольской ночи
И, насторожен нерусской речью,
Прятался в густых стеблях бахчи?

Я ль немолодым назвал впервые
Женщину возлюбленной женой?
А во мне, со мной мои чужие,
Я живу, пока они со мной.

1986

* * *

Как видно, иду на поправку
И мне не нужны доктора.
С самим собой очную ставку
Теперь мне устроить пора.

Пора моей мысли и плоти
Друг другу в глаза посмотреть,
К тебе устремившись в полете,
Совместно с мирами сгореть.

Позволь мне себе же открыться
И тут же забыть этот взгляд,
Позволь мне в тебе раствориться
И в плоть не вернуться назад.

1986

В ЧАСЕ ХОДЬБЫ ОТ ВЕЙМАРА

Тайный советник, поэт и ученый,
В обществе дам, двух подруг герцогини,
Медленно движется рощей зеленой;
Ясен покой на лесистой вершине;

В купах дерев различаешь дыханье
Листьев; и птицы к закату замолкли;
Завечерело; и слышно шуршанье:
Речь ли немецкая? Травка ли? Шелк ли?

Дамы внимают советнику Гете,
Оптики он объясняет основы,
Не замечая в тускнеющем свете,
Что уже камеры смерти готовы;

Ямы в Большом Эттерсберге копают,
Всюду столбы с электричеством ставят;
В роще бензином живых обливают
И кислотою синильною травят.

1986

* * *

Потомства двигая зачатки,
Лягушек прыгают двойчатки,
Снег мочит редкую траву,
Поют крылатые актеры,
А к ним взлетают метеоры —
Так бабочек я назову.

Милы мне бабочки и птицы!
Я тот, кто вышел из больницы,
Кто слышит, как весна идет,
Но помнит знаки жизни хрупкой —
Связь неестественную с трубкой,
Свой продырявленный живот.

Я вам обоим благодарен:
Тебе, что ярко мне подарен,
Мой день, поющий все звончей,
Тебе, кто света не видала,
Кто триста дней со мной страдала
И триста мучилась ночей.

1986

* * *

Слышу, как везут песок с карьера,
Просыпаюсь, у окна стою,
И береза смотрит светло-серо
На меня, на комнату мою.

Голубое небо так сверкает,
Почему ж в нарушенной тиши
Ужас пониманья проникает
В темную вещественность души.

Разве только нам карьер копали,
Разве только мы в него легли?
Матерь Утоли Мои Печали
Не рыдала ль плачем всей земли?

1986

ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ

Электроплита, батареи
Служить перестали. В окне —
Темнее, в дому — холоднее,
Но вспыхнуло что-то во мне.

Один, в темноте, в своем кресле,
Зажечь не желая свечу,
Я жду, чтобы тени воскресли,
Всем телом я жду и молчу.

Я чувствую светлую страстность
Внутри существа моего,
И к здешнему миру причастность,
И с миром нездешним родство.

Недвижный, во тьме я взлетаю,
Я сам превращаюсь в свечу,
И с радостью плачу, и таю,
Но утру навстречу лечу.

1986

СОБОР

Не в зеленом уборе
Вижу землю мою,
А в зеленом соборе
Я молюсь и пою.

И ведет не апостол,
И зовет не левит, –
Сам внутри себя создал
То, чем жить надлежит.

Ум и сердце очистив
От сует и нытья,
Слышу проповедь листьев
И псалом соловья.

Я в зеленом соборе
Узнаю, что опять
Губит Чермное море
Фараонову рать;

Что, зажав свой пастуший
Посох в смуглой руке,
Вновь идет, как по суше,
Человек по реке.

Домотканой рубахи
Чуть намокли края,
В чудном трепете птахи,
Воды, ветви и я.

1986

* * *

Я взлечу в небеса из болота,
Там, где вязкий погибельный прах,
Я взлечу в небеса из болота
И растаю, как след самолета
В небесах, в небесах.

Растворенная в небе частица,
Я увижу в лазурном стекле,
Растворенная в небе частица,
Я пойму, что со мною творится
На земле, на земле.

Кто же виден мне в гнилостной плоти
Сквозь заоблачную синеву?
Это вновь в своей гнилостной плоти,
Вновь в погибельном вязком болоте
Я живу, я живу.

1986

В ПОЛЕ ЗА ЛЕСОМ

Иду в поля, со мной травинушка
Или цветочный стебелек?
«Нет, не цветок я, а княгинюшка,
На мне венец, а не венок.

Внесла я вклад в казну обители,
Уединясь от дел мирских.
Нас превратили погубители
В существ лесных и полевых.

Мы жили в кельях, но с веселостью,
Светло на родине рослось.
Но мир дохнул чумною хворостью,
Мы были близко,— нынче врозь.

Одним путем пошла Маринушка,
Другой для Аннушки пролег.
А где ж монахиня-княгинюшка?
Я — только тонкий лепесток.

Но верю: мы друг друга вылечим,
Вода пасхальная близка.
Мы сорок жаворонков выпечем
Для мучеников сорока!

И пусть я даже стала травушкой,
Но вы со мной, опять со мной.
Не погубили нас отравушкой.
Спаслись от хворости чумной.

Зову я: «Это ты, Маринушка?
Ты, Аннушка, цела, жива?»
Лишь плачет надо мной осинушка,
Кругом — земля, цветы, трава.

1986

РОДНИК

Где часовня белела
Издалека,
Божья Матерь скорбела
У большака,

И от слез ее горьких
В роще возник,
Отзвенев на пригорках,
Чистый родник.

Проезжали подводы,
Слышался скрип,
Проникавший под своды
Пахнувших лип,

Все пылилось, гудело,
Пело, цвело,
А часовня белела
Бело, бело.

И сраженье гремело,
И войско шло,
Божья Матерь скорбела
Светло, светло.

Чад цыганской жаровни
Возле куста
От подножья часовни
Полз до креста,

А зимой выла рядом,
В гуще снегов,

С человечьим укладом
Бытность волков.

И молитвы, и толки, —
Вечная смесь.
Но сильней стали волки, —
Только ли здесь?

Божью Матерь втоптали
В пыль, но в пыли
Утоляла в печали
Печаль земли.

Где часовня? Где запах
Срубленных лип?
Гибнет свет в волчьих лапах
Или погиб?

Нет, родник не желает
Больше не быть,
Плачет Мать, утоляет
Пришедших пить.

1986

НА ИСТРЕ

Не себя нынче звезды славят,
Засветясь в предпраздничный вечер, —
Это кроткие ангелы ставят
Перед Божьей Матерью свечи.

И когда на неделе вербной
Звездный свет до земли доходит,
Не гараж со стеной ущербной,
Не пустое село находит,

А исчезнувший сад монастырский —
Сколько яблок созреет сладких!
На продажу — калач богатырский,
Мед в корчагах и масло в кадках.

Возле фабрики тонкосуконной
Слобода построилась быстро,
И не молкнет гул семизвонный
Над бегущей весело Истрой.

На монахинь глядит Приснодева —
Кто в саду, кто стелет холстину —
И узревшему землю из хлева
Выбирает невесту сыну.

1986

* * *

Я забыть не хочу, я забыть не могу
Иероглифы птичьих следов на снегу.
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Те ступеньки, что скользко сползали к ключу.
Не хочу, не могу эту речку забыть,
Что прошила снега, как суровая нить.

Я забыть не хочу, я забыть не могу
Круг закатного солнца на вешнем лугу.
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Эту сосенку, вербную эту свечу.
Только б слышать всегда да и помнить всегда,
Как сбегает с холма ключевая вода.

1986

* * *

Жарой опустошенный,
Свалился в сумрак день,
Как недругом сраженный
Из-за угла уздень.

Недвижный и бездомный,
Лежал он до зари.
Под буркой ночи темной
Светились газыри.

На нем сидели птицы,
И муравьи ползли,
И были ноговицы
Черней самой земли.

Он стал обломком воли
И огоньком столпа,
С которыми дотоле
Не ладила толпа.

Из камня он родился,
И, скошен пулей злой,
Он в камень возвратился
И слился со скалой.

1987

НЕПОЛОТОЕ ПОЛЕ

Неполотое поле
Меж двух круглится рощ.
Вдали являет трактор
Недвижимую мощь.
И ветер на виоле
Играет за селом,
Хрип трактора, звон ветра
Летят ко мне вдвоем.

Принадлежат совхозу
И поле, и село.
О, как бы мне хотелось,
Чтоб семя проросло,
Чтоб жизненную прозу
Насельники земли
На ангельское пенье
Перевести смогли.

1987

ПО ЭДГАРУ ПО

Возле рижской магистрали, где в снегу стволы
лежали,
В глубине лесной печали шел я мерзлою тропой.
Обогнул седой чапыжник. Кто там прянул
на булыжник?
Это старый чернокнижник, черный ворон,
ворон злой.

Страшных лет метаморфоза, посиневший от мороза,
Трехсотлетний член колхоза, — черный ворон
мне кричит:
— Золотник святого дара сделал вещью для базара,
Бойся, грешник, будет кара, — черный ворон
мне кричит.

Говорю я: — Трехсотлетний, это все навет
и сплетни,
Есть ли в мире безответней и бессребренней меня?
Не лабазник, не приказчик, золотник я спрятал
в ящик, —
Пусть блеснет он, как образчик правды
нынешнего дня.

Но упорен черно-синий: — Осквернитель ты
святыни,
Жди отмщения эриний, — ворон старый мне кричит.
— Мастерил свои товары, чтоб купили янычары,
Бойся кары, грозной кары, — ворон старый
мне кричит.

За деревней малолюдной, свой подъем окончив
трудный,

Я вступаю в край подспудный, но душе открытый
лес.
Кто там, кто там над болотом? Ворон, ты ль
за поворотом?
Ты ль деревьям-звездочетам поклонился — и исчез?

1987

БУРЯ

В начале августа прошла
Большая буря под Москвою
И тело каждого ствола
Ломала с хвоей и листвою.

Кружась под тучей грозовой,
Одна-единственная птица
Держалась к буре головой,
Чтоб не упасть, не расшибиться.

Свалилась на дорогу ель,
И над убитым мальчуганом
Сто океанов, сто земель
Взревели темным ураганом.

Малыш, за чей-то давний грех,
Как агнец, в жертву принесенный,
Лежал, сокрытый ото всех,
Ничьей молитвой не спасенный.

Заката неподвижный круг,
Еще вчера спокойный, летний,
Сгорел — и нам явились вдруг
Последний день и суд последний.

Мы понимали: этот суд
Вершится вдумчиво и скоро,
И зная — слезы не спасут,
Всю ночь мы ждали приговора.

А утром солнышко взошло,
Не очень яркое сначала,

И милостивое тепло
Надеждой светлою дышало.

Зажглась и ранняя звезда
Над недоверчивым безлюдьем,
Но гул последнего суда
Мы не забудем, не забудем.

1987

* * *

Когда мне в городе родном,
В Успенской церкви, за углом,
Явилась ты в году двадцатом,
Почудилось, что ты пришла
Из украинского села
С ребенком, в голоде зачатом.

Когда царицей золотой
Ты воссияла красотой
На стеклах Шартрского собора,
Глядел я на твои черты
И думал: понимала ль ты,
Что сын твой распят будет скоро.

Когда Казанскою была,
По озеру не уплыла,
Где сталкивался лед с волнами,
А над Невою фронтовой
Вы оба — ты и мальчик твой —
Блокадный хлеб делили с нами.

Когда Сикстинскою была,
Казалось нам, что два крыла
Есть у тебя, незримых людям,
И ты навстречу нам летишь
И свой полет не прекратишь,
Пока мы есть, пока мы будем.

1987

ВОЗЛЕ МИНСКА

И. И. Ром-Лебедеву

Возле Минска, в свете полнолунья,
На краю лесного полустанка,
Поводила бедрами плясунья,
Пестрая красавица цыганка.

Танцевала в длинной красной юбке,
Хрипло пела в длинной желтой шали,
И за неименьем душегубки,
Немцы не душили — убивали.

Там стрельба поляну сотрясала,
Ржали кони, и кричали люди,
А цыганка пела и плясала,
А под шалью вздрагивали груди.

Громкий ужас древнего кочевья,
Молодые, старики и дети
Падали на землю, как деревья,
А над ними — песнь седых столетий.

Темная земля в крови намокла,
Нелюдь слушала, стреляла, злилась,
Наконец и девушка замолкла
И на лошадь мертвую свалилась.

Сохранили и дубы, и вязы
Оборвавшуюся песнь цыганки,
И от них услышал я рассказы
Про погибель кочевой стоянки.

1987

Говорит правда дня, говорит правда ночи.
Что ж друг другу они говорят? «Говори,
Говори подлинней, нам нельзя покороче,
Мы должны говорить от зари до зари».

Говорит правда дня: «Я — весы и число,
Я — топор и стрекало, перо и лекало,
Я — затоптанный флаг, я — мятежное зло,
Все, что племя людей век за веком искало».

Говорит правда ночи: «Я — смятение счастья,
Я — догадка любви, я — разгадка судьбы,
Я — веселая воля, я — волторна безвластья,
Я — извечная связь волшебства и мольбы».

1987

Белый шах растянулся на площади перед театром
И под солнцем свое сушит царственное одеянье,
Все ветра, все дожди на пути одолел он превратном,
Излучая сиянье.

А в аллеях от сладкого воздуха люди хмелеют,
И платаны беседуют с ними чуть слышно и робко,
У афиши театра две славных девчонки белеют —
Две коробочки хлопка.

Волокнистою стала, как хлопок, душа человечья,
И так мало ей нужно, а то, что ей нужно, —
безгласно,
Притаились в коробочках грезы, раздумья, наречья,
Правит шах самовластно.

Были суфии некогда здесь, астрономы, поэты,
Но засыпал песок живописные стены раскопок,
Все исчезло, ушло, и сменяет былого приметы
Белый шах — белый хлопок.

1987

СКОРБЬ

Я не знаю, глядя издалече,
Где веков туманна колея,
Так же ли благословляла свечи
В пятницу, как бабушка моя.

Так же ли дитя свое ласкала,
Как меня моя ласкала мать,
И очаг – не печку – разжигала,
Чтоб в тепле молитву прочитать.

А кому Она тогда молилась?
Не ребенку, а его Отцу,
Ниспославшему такую милость
Ей, пошедшей с плотником к венцу.

Так же ли, качая люльку, пела
Колыбельную в вечерний час?
Молодая – так же ли скорбела,
Как теперь скорбит Она о нас?

1987

ИРИСЫ

Деревня длится над оврагом,
Нет на пути помех,
Но вверх взбираюсь тихим шагом,
Мешает рыхлый снег.

Зимою жителей немного,
Стучишь — безмолвен дом,
И даже ирисы Ван-Гога
Замерзли над прудом.

А летом долго не темнело,
Все пело допоздна,
Все зеленело, все звенело,
Пьянело без вина.

Вновь будет зимняя дорога,
Но в снежной тишине
Все ж будут ирисы Ван-Гога
Цвести на полотне.

1988

Как с Плющихи свернешь,— в переулке,
Словно в старой шкатулке,

Три монахини шьют покрывала
В коммуналке подвала.

На себе-то одёжа плохая,
На трубе-то другая.

Так трудились они для артели
И церковное пели.

Ладно-хорошо.

С бельэтажа снесешь им, вздыхая,
Колбасы, пачку чая,

В самовар огонечку прибавят,
Чашки-блюдца расставят,

Дуют-пьют, дуют-пьют, все из блюдца,
И чудесно смеются:

«С полтора понедельника — малость —
Доживать нам осталось.

Скоро пасха-то». — «Правильно, Глаша,
Скоро ихня да наша».

Ладно-хорошо.

Мальчик жил у нас, был пионером,
А отец — инженером,

Мягкий, робкий, пригожий при этом,
Хоть немного с приветом:

Знать, недуг испытал он тяжелый
В раннем детстве, до школы.

Он в метро до Дзержинской добрался
Да попасть постарался,

Доложил: «Я хочу, чтоб вы знали:
Три монашки в подвале

Распевают, молитвы читают
И о Боге болтают».

А начальник: «Фамилия? Клячин?
Хитрый враг будет схвачен!

Подрастешь — вот и примем в чекисты,
Да получше учись ты».

Трех, за то, что терпели и пели,
Взяли ночью, в апреле.

Три души, отдохнув, улетели
К солнцу вербной недели...

Для меня, вероятно, у Бога
Дней осталось немного.

Вот и выберу я самый тихий,
Добреду до Плющихи.

Я сверну в переулок знакомый.
Нет соседей, нет дома.

Но стоят предо мною живые
Евдокия, Мария,

Третья, та, что постарше, — Глафира,
Да вкусят они мира

Ладно-хорошо.

1988

Что буравишь ты, червь-книготочец,
Пожелтевших блокнотов листы?
Неудачливых строчек-пророчиц
Неужель опасаешься ты?

Робкий в жизни, в писаниях смелый,
Черноморских кварталов жилец,
Их давно сочинил неумелый,
Но исполненный веры юнец.

Дышат строчки незрелой тревогой,
Страшных лет в них темнеют черты.
Уходи, книготочец, не трогай
Пожелтевших блокнотов листы.

1988

> Стены Нового Иерусалима
> На полях моей родной страны.
>
> *Гумилев*

Стены Нового Иерусалима
Не дворцы и скипетры царей,
Не холопье золото ливрей,
Не музейных теток разговоры,
Не церквей замшелые подпоры,
Не развалины монастырей,
А лесов зеленые соборы,
А за проволокою просторы
Концентрационных лагерей,
Никому не слышные укоры
И ночные слезы матерей.

1988

Шумит река, в ее одноголосье —
Загадка вековая, кочевая.
Из темной чащи выбегают лоси,
Автомашин пугаясь — и пугая.

И голос, кличем пращуров звучащий,
И лес по обе стороны дороги,
И мы посередине темной чащи,
И наши многодумные тревоги,

И лоси, вдруг возникшие, как чудо,
С глазами, словно звезды Вавилона, —
Мы здесь навек. Мы не уйдем отсюда.
Земля нам не могила здесь, а лоно.

1988

ИСТОРИК

Бумаг сказитель не читает,
Не ищет он черновиков,
Он с былью небыль сочетает
И с путаницею веков.

Поет он о событьях бранных,
И под рукой дрожит струна...
А ты трудись в тиши, в спецхранах,
Вникай пытливо в письмена.

И как бы ни был опыт горек,
Не смей в молчанье каменеть:
Мы слушаем тебя, историк,
Чтоб знать, что с нами будет впредь.

1988

ЗАМЕТКИ О ПРОЗЕ

Как юности луна двурогая,
Как золотой закат Подстепья,
Мне Бунина сияет строгое
Словесное великолепье.

Как жажда дня неутоленного,
Как сплав пожара и тумана,
Искрясь, восходит речь Платонова
На Божий свет из котлована.

Как боль, что всею сутью познана,
Как миг предсмертный в душегубке,
Приказывает слово Гроссмана
Творить не рифмы, а поступки.

Как будто кедрача упрямого,
Вечнозеленое, живое,
Мне слово видится Шаламова —
Над снегом вздыбленная хвоя.

1988

ЙСКАЯ НОЧЬ

Какая ночь в лесу настала,
Какой фонарь луна зажгла,
Иль это живопись Шагала —
Таинственная каббала?

А что творится с той полянкой,
Где контур сросшихся берез, —
Как будто пред самаритянкой
Склонился с просьбою Христос.

О, как понять мне эти знаки,
И огласовки, и цыфирь,
Когда в душистом полумраке
Ликует птичий богатырь.

Он маленький, почти бесцветный,
И не блестящ его полет,
Но, гениально неприметный,
Он так поет, он так поет!

1988

Я видел облака папах
На головах вершин,
Где воздух кизяком пропах,
А родником — кувшин.

Я видел сакли без людей,
Людей в чужом жилье,
И мне уже немного дней
Осталось на земле.

Но преступление и ложь,
Я видел, входят в мир
С той легкостью, с какою нож
В овечий входит сыр.

1988

Устал я от речей
И перестану скоро
Быть мерою вещей
По слову Протагора.

Устал я от себя,
От существа такого,
Что, суть свою рубя,
В себе растит другого.

Нет, быть хочу я мной,
И так себя возвысить,
Чтоб, кончив путь земной,
Лишь от себя зависеть.

1988

ТУМАН

Лес удивляется белесой полосе,
        А мир становится безмерней:
Как будто пахтанье, густеет на шоссе
        Туман поздневечерний.

Врезаемся в него, не зная, что нас ждет
        За каждым поворотом чудо.
Сейчас нам преградит дорогу небосвод
        С вопросом: — Вы откуда?

А я подумаю, что эта колея
        Бесплотней воздуха и влаги:
Она низринута с горы сверхбытия
        В болота и овраги.

1988

Песчаный белый берег,
Самодержавный зной
И узкий желтый ерик
Почти глухонемой,

А храм, где с шестируким
Я встретился божком,
Был предан черным мукам
И занесен песком.

1989

Готовлю свое изделье
Во всей восточной красе,
Пишу в Самарканде в келье
Старинного медресе.

Художница-ленинградка
За толстой стеной живет,
И тень огонька лампадка
Бросает на старый киот.

Отца единого дети,
Свеченье видим одно,
И голуби на минарете
Об этом знают давно.

1989

1919

Разбит наш город на две части,
На Дерибасовской патруль,
У Дуваржоглу пахнут сласти
И нервничают обе власти.
Мне восемь лет. Горит июль.

Еще прекрасен этот город
И нежно светится собор,
Но будет холод, будет голод,
И ангелам наперекор
Мир детства будет перемолот.

1989

БЕГСТВО ИЗ ОДЕССЫ

В нем вспыхнул снова дух бродяже-
ский,
Когда в сумятице ночной,
Взяв саквояж, спешил по Княжеской
Вдвоем с невенчанной женой.

Обезображена, поругана,
Чужой становится земля,
А там, внизу, дрожат испуганно
Огни домов и корабля.

Еще друзья не фарисействуют,
Но пролагается черта,
Чека пока еще не действует
У Сабанеева моста,

И замечает глаз приметливый
Дымок, гонимый ветром с крыш,
И знает: будут неприветливы
Стамбул, София и Париж.

Нельзя обдумывать заранее
Событья предстоящих лет,
Но озарит его в изгнании
Дороги русской скорбный свет.

1989

Жил в Москве, в полуподвале,
Знаменитейший поэт.
Иногда мы с ним гуляли:
Он — поэт, а я — сосед.

Вспоминал, мне в назиданье,
Эвариста Галуа,
И казалось: мирозданье
Задевает голова.

Говорил, что в «Ревизоре»
Есть особый гоголин.
В жгучем, чуть косящем взоре
Жил колдун и арлекин.

Фосфор — белый, как и имя, —
Мне мерцал в глазах его.
Люцифер смотрел такими
До паденья своего.

1989

Здесь все в себе таит
Вкус океанской соли.
В иезуитской школе
Здесь памятник стоит
Игнатию Лойоле.

А та, что родилась
На даче у Фонтана
В моей Одессе, — Анна
Здесь подтверждает связь
Невы и океана.

Пять светлых, важных дней
Богослуженья мая,
Соль вечности вдыхая,
Мы говорим о ней,
О жительнице рая.

1989

АНГЕЛ ТРЕТИЙ

Водопад вопит из раны,
Вся река красна у брега,
Камни древние багряны
Возле мертвого ковчега.

Внемля воплям и безмолвью,
На распахнутом рассвете
Над землею чашу с кровью
Опрокинул ангел третий.

1989

ДУБ

Средь осени золотоцветной,
Как шкурка молодой лисы,
Стоит как муж ветхозаветный
Дуб нестареющей красы.

Ему не надобно движенья, —
Он движется в себе самом,
Лишь углубляя постиженье
Того, что движется кругом.

И он молчит. Его молчанье
Нужней, прочнее тех словес,
Что в нашем долгом одичанье
Утратили свой блеск и вес.

Принять бы восприятьем дуба
День, час, мгновенье в сентябре,
Но вечности касаюсь грубо,
Притронувшись к его коре.

1989

Когда мы заново родились,
Со срама прячась за кусты,
Не наготы мы устыдились,
А нашей мнимой красоты,

А нашего лжепониманья,
Что каждому сужден черед.
Но смерть есть только вид познанья,
Тот, кто родился, не умрет.

И вельзевуловы солдаты
Не побеждают никогда
Молящихся: мы виноваты,
Вкусивши счастия стыда.

1987

ПОЭМЫ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящается И. Л.

Быть может, потому, что я не раз
Слагал об этом мысленно рассказ;

Иль небо мне навстречу устремилось,
Послав мне слушательницу, как милость;

Быть может, потому, что старый год
Постиг, уже не споря, свой исход;

Иль, может, потому, что в этом месте
Сближалось бурно с городом предместье;

А может быть, все дело было в них, —
В нерастворенных газах выхлопных,

Иль в том, что там, где молод был когда-то,
Теперь к тебе спешил я вдоль заката, —

Нарушен был планетный обиход:
В два яруса вставал небесный свод.

Мне озером казался верхний ярус,
Челн самолета в нем купал свой парус,

А в нижнем краснопалая рука
Как бы остановила облака.

И мир волшебный, горний, двуединый
Так засиял во мне, что из машины

Иная мне привиделась зима:
Там, где теперь возвысились дома,

В годину мелкости и завирухи
Построенные в современном духе

(Так, к слову: может, в том-то наш недуг,
Что времени мы подчиняем дух),—

В те годы ладно струганной толпою
Стояли пятистенки под щепою,

Однако же соседствуя порой
С приземистой постройкой городской.

Запомнились мне к станции поближе
Аптека, и амбар кирпично-рыжий,

И крест, сквозь вечереющий простор,
Как мученик, взошедший на костер

Над храмом, лишь на днях приговоренным
К бездействию активом межрайонным.

Скворешни, и колодцы, и для пчел
Колоды, и умолкнувший глагол

Колоколов,— все было мне предвестьем
Того, что разразится над предместьем.

Я медленно оглядывался здесь.
Впервые в русскую попал я весь.

Ты не узнала б нынешнего друга
В том юноше, в том уроженце юга.

Но были ль странными мои черты?
Смесь жажды жертвенности и тщеты,

Невежества, начитанности, вздора,
Непримиримости и термидора.

Меня сюда устроил мой земляк.
Он видел сам себя среди гуляк,

Среди бродяг, веселых и беспутных,
Певцов и птицеловов бесприютных.

А там и новый образ: военспец,
Кавалерист... Ты улыбнешься: лжец?

Но, право, это было б слишком просто!
Женственноплечий, но большого роста,

С седым вихром на молодом челе,
Артист и мой наставник в ремесле

Словесном,— он сверкал серо-зеленым
Сверканьем глаз, он был Пигмалионом,

Который самого себя лепил,
Но не себя,— ваяние любил.

Он из себя выдавливал еврейство
Горячкой романтического действа,

Ружьем или манком в ловецкий час,
Да строчкой, просмоленной, как баркас.

Все, что искал он раньше в чудных книгах,
Он находил в наркомах и комбригах,

В тачанках и кожанках, и обман
Он впрыскивал в себя, как наркоман,

Нет, как шаман, камлал он исступленно,
Завороженно славил гегемона

И бунта дикого девятый вал,
Но иногда глаза он раскрывал,

И пред внезапно исцеленным взглядом
Метался меж Махно и продотрядом

Несчастный украинец-хлебороб,
Иль сердце вдруг сжимал, бросал в озноб

Тот соловей, что пел в газетной клетке.
А голос у него был чистый, редкий,

Первопородной звонкости, хотя
Наставник мой дышал, хрипя, кряхтя,

Стихи в среде читая разномастной.
Потом шутил: «Могу бороться с астмой,—

Одно спасительное средство есть:
Вслух Мандельштама надобно прочесть».

О говор юго-западный, певучий!
Как поднималась истина созвучий

Из глубины в те дни заглохших строк:
Случевский, Ходасевич, Клюев, Блок...

Усевшись, будто сарацин ленивый,
Мои выслушивал он инвективы,

С насмешкою над молодостью лет
И лишь привычно негодуя: «Бред».

(Он и мою рифмованную шалость
Словечком этим награждал, случалось.)

Однажды я стихи отнес в журнал,
Где он служил: знакомством не желал

Воспользоваться,— отдал секретарше.
Что ж начертал на них товарищ старший?

«В «Епархиальный вестник»...» Два-три дня
К нему не приходил я. Но меня

Он утром навестил в моем чулане.
Спросил в дверях: «Чи вы сказились, пане?

Прочтите что-нибудь». Я стал читать:
Слаб человек... «Искусно, но опять —

Набор отживших мыслей: вера, вече,
И прочее, и воля... Сумасшедший!

У вас есть слух, не слишком острый глаз,
Но четко вы рисуете подчас.

Пишите то, что от пупа, от пуза.
К чертям ваш детский бред! Пусть ваша муза

Со всей страною двинется в поход!..»
Мой детский бред... О двадцать первый год!

Коптилка еле тлеет. Голодаем.
Однако мамалыгой и малаем

Торгуют бабы из молдавских сел.
Сгорел собор. Обледенел костел.

Как в парадизе, ни к чему работа.
Чуть вечер — запираются ворота

С прорубленным квадратиком-глазком:
Тот не войдет во двор, кто незнаком,—

С винтовкой, то пугаясь, то рисуясь,
Жильцы дежурят, важно чередуясь.

Нас начал часто посещать один
Занятный гражданин. Свой сахарин

Он приносил, и в кипятке чаинки
Всплывали вверх, и жмых шипел в румынке,

И нам рассказывал знакомец наш
О том, как он пришел на вернисаж

В Париже, о балетных чародейках.
Он прежде был богат,— из братьев Лейках,

(«Кастор, трико, маренго, шевиот»),—
Вел старший брат торговый оборот,

А он, коммерцию презревший с детства,
Жил на процент с отцовского наследства.

Он был, что называется, эстет.
Среди разрухи щегольски одет,

Он облик сохранил эпикурейский.
Отцу сказала мама по-еврейски

(Чтобы понять не мог я ничего),
Что бросила любовница его

В тот день, когда бежали офицеры
В Стамбул. А он визитки и портьеры,

С трудом входя в базарную толпу,
Менял на хлеб и ячную крупу.

...К нам в дом вступили двое в вечер поздний:
Изъятие излишков. Но, о розни

Как бы не зная, мой отец в ответ
Явил свой меньшевистский партбилет.

Увидев «РСДРП» на книжке,
Решили нам оставить все излишки

Еврей в папахе и кацап-матрос.
Но был еще, как видно, и донос:

Велели гостю нашему одеться
И молча увели... Одесса, детство

И выстрел в том холодном феврале.
Мы выбежали в ночь. А на земле

Он у ворот лежал. Пришел Никита,
Заика-дворник. Бормоча сердито,

Он зажигалкой осветил пальто.
А кто в пальто? А что в пальто? Ничто.

Густела кровь на котиковой шали,
И ничего глаза не выражали...

Родная, смерть я видел на войне,
А случай был,— стрелять пришлось и мне.

Но дворник что-то мне всю жизнь бормочет,
Та смерть во мне — и умереть не хочет.

Быть может, потому себе не лгу,
Что от нее отречься не могу...

Я рассказал ему про двадцать первый,
О выстреле... «Эстеты эти — стервы,

А есть закон для стоющих людей:
Того, кто должен быть убит,— убей».

(Позднее безнадежней, непреклонней
В стихах об этом скажет он законе.)

Тянулся он к чекистам. Среди них
Загадочней, острее остальных

Казался Блюмкин, тот, кто Гумилевым
Был обозначен живописным словом,

Тот, кто стрелял в имперского посла.
Но чья рука его рукой вела?

Романтик принимал его с опаской,
Но и с восторгом перед мрачной сказкой.

В ту зиму наш поэт увлекся вдруг
Историей Конвента. Часто вслух

Он максимы Сен-Жюста и Марата
Читал чуть нараспев, но хрипловато,

И во французских слышались речах
Сегодняшняя боль и русский страх:

Уже рождалась в той зиме тревога.
Как и его друзья, он думал много

О том, кто был, завернутый в ковер,
В Алма-Ату отправлен под надзор...

За липами, где горизонт сиренев
(Как в «Накануне» описал Тургенев),

Расположились дачи у реки.
Там жили крупные большевики.

Мы шли туда путем кратчайшим, что ли
(Сейчас уже не помню), через поле.

Вдали дома чернели, и сперва
Мне избами казались дерева.

Природа нас разглядывала молча.
Пес выскочил, остановился. Волчья

В собаке мнительность была. Кругом
Все в древность шло. Великий перелом

Как бы не нависал над земледелом.
Еще был чьим-то вотчинным уделом

Окрестный край, и даже Юрьев день
Еще не наступил для деревень,

Лежавших за снегами, за веками,
А мы брели по полю чужаками.

И только поездов упрямый бег
Напоминал, что есть двадцатый век,

Ломающий обычай, веру, право
С самонадеянностью костоправа...

Мы направлялись в гости. Он с собой
Взял и меня, чтоб одному домой

Не возвращаться в стуже долгой ночи.
Он ликовал: «Путиловский рабочий,

Как говорится, парень от станка,
Работает инструктором Цека.

Жена — бабец что надо, одесситка,
Моя приятельница...» Вот калитка

И с мезонином деревянный дом.
Они в хоромах стали жить потом,

Тогда лишь каждый потрох обнажили,
Когда самих себя распотрошили.

Сама хозяйка нам открыла дверь.
Что в отошедшем вижу я теперь?

Авторитарную непринужденность;
Ее шифоновое платье; склонность,

Однако, там, где нужно, к полноте;
При этом ноги тонкие; и те

Глаза, что нравились великороссам, —
Тем выдвиженцам кряжистым, курносым;

На слишком выпуклой груди янтарь;
Партийно-артистический словарь, —

Все это было сказкой, стало былью
И, сгнив, смешалось с лагерною пылью.

И то, что и не снилось голытепе —
Стоячие часы и канапе,

Дворянских гнезд разрозненная мебель, —
Все так же превратилось в пыль и небыль...

Нам приготовили домашний стол.
Был лишь один нерусский разносол —

Со шкваркой редька. И лафитник с горькой
Был позлащен внутри лимонной коркой,

И смех, и «я люблю лесную глушь»,
И как-то странно появился муж, —

Как будто ниоткуда, не из двери.
Воображенье или суеверье?

Он был урод. Он был колдун-урод!
Почти что карлик. Был наполнен рот

Несхожими зубами, — будто в разных
Ртах реквизированными. Приказных

Снабжали, вероятно, в старину
Глазами из такой слюды. К окну

Он резко подошел и, к нам спиною,
Зачем-то постоял перед ночною

Безмолвной тьмой, придвинув лоб к стеклу,
И, повернувшись, пригласил к столу.

Тост произнес. «Так, значит, мы соседи», —
И перестал участвовать в беседе.

Поэт с хозяйкой вспоминали юг,
«Зеленой лампы» одаренный круг,

Потом он стал читать. Читал с подъемом,
Со свистом, звоном, щелканьем и громом.

Хозяйка сделала глазами знак:
Мол, восхитись. Хозяин-вурдалак

Сказал, вульгарно ставя ударенье:
«Иметь было́ б неплохо точку зренья:

Вы пограничник иль контрабандист?
А стиль у вас, что говорить, речист».

Кто мог предположить, что мы в берлоге
Бесовской? Что уродец кривоногий,

Сей недоумок бедный — сатана,
В чьих рукавицах смерть заострена,

И что кромешников народ грошовый
Ужахнется при имени Ежова!

Но горе нам: не бес и не колдун,—
Крючок приказный, ябеда, топтун,

Лет через семь, умом и волей скудный,
Какою же, однако, силой чудной

Принудит баловней и главарей,
Светил наук, героев, бунтарей

Гнить в гноище изгоями рассудка?
Вопрос тяжел, но и ответить жутко.

Мы вышли. Ночь. Постройки и дворы
Черно молчали на снегу. Миры

С белесой выси, в воздухе студеном,
Мерцанием сияли отчужденным,

И сосны пред княгинею-зимой
Стояли, как стрельцы, и спутник мой,

Сердечных не любивший излияний,
Насмешник и остряк, как все южане,

Нагнулся, обхватил меня рукой,
От слез и снега мокрою щекой

К моей щеке неловко прикоснулся.
Иль Божий свет опять на миг проснулся

В незрячем? Иль буран грядущих лет
Провидит оком голубя поэт?

1974

ВЯЧЕСЛАВУ. ЖИЗНЬ ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ

О, коль прекрасен мир! Что ж дух
мой бременю?

Державин. Евгению. Жизнь Званская

Нам здешних жителей удобно разделить
На временных и постоянных.
Начнем же со вторых. Ну как не восхвалить
Семейство елей безымянных?

То наблюдатели писательских семейств,
Влиятельных и именитых,
Воспоминатели бесовских давних действ,
От новых порослей сокрытых.

Поймем ли мысль берез — белопокровных жриц,
Всем чуждых в этом околотке,
В ветвях орешника густого щебет птиц,
Столь вопросительно-короткий,

Среди живых стволов мощь мнимую столбов,
Где взвизги суеты советской
Смешались с думою боярскою дубов
И сосен смутою стрелецкой,

Жасмина, ириса восточный обиход,
Роскошество произрастанья,
В то время как в листах незримая идет
Работа зрелого страданья,

Качает иван-чай ничтожные права,
Лелея колкую лиловость,
А подорожнику все это трын-трава,
Ему скучна любая новость.

Поймем ли, почему замолкли соловьи,
А переимчивые славки
Бессмысленно свистят вдоль узкой колеи,
Ведущей к бакалейной лавке.

Угрюмо царствует глухонемая суть,
И лишь иной христопродавец
Вздыхает, сквозь кусты услышав шумный путь
В какой-то Малоярославец,

А то и грубый гул, среди прямых аллей,
Ассенизаторской машины,
И тех, чьи номера, начавшись с двух нулей,
Внушают трепет беспричинный,

И той, где мичманы, усевшись на корму,
Следят за полным адмиралом, —
Остановиться ли? Напомнить ли ему
Про службу под его началом?

И той, что к трем часам, преодолев запрет,
Скрипя как будто бы с натуги,
Из дома творчества привозит нам обед
На имя Инниной подруги,

А до нее для нас еду, не трепеща,
Каверин заказал маститый,
Тогда поболее давали нам борща
И ели мы гарнир досыта.

Цыфирью выучен обозначать меню
Судков развозчик в куртке грязной...
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю
Тревогой, слухом, грустью праздной?

Мы делим на двоих то борщ, то суп с лапшой
И с макаронами котлету.

Так радуйся же всей измученной душой
Врачебнодейственному лету!

Мы в доме у вдовы Степанова живем.
Муж утонул, в пруду купаясь,
И так же, как всему, что двигалось кругом,
Безвольно смерти улыбаясь.

Впервые Хлебников был собран им в года
Цензуры не настолько строгой...
Я помню, брюки он подтягивал всегда,
Неловкий и коротконогий.

Беззвучно плакал он, истерзанный вконец
Больным, неизлечимым сыном.
Профессор, черни раб, несчастнейший отец,
Он обладал бесстрашьем львиным.

Он Заболоцкого упорно вызволял
Из лагеря, и, молодея,
Поставить подписи он знатных заставлял,
И даже славного Корнея.

На кафедре своей отзаседав, жене
Кричал, покинув храм науки:
«Скорее ванну мне! Пришел я весь в говне!»
И нервно поправлял он брюки.

То было в дни, когда не в горсточках дворян,
Не в гущах гадов недобитых, —
В саду строительства открыли нам бурьян
В обрезанных космополитах.

А скольких до того, от утра допоздна,
На каждом новом перевале,
И жертв, и палачей сменялись имена, –
Все били и недобивали...

Заметили ли вы, что выглядит порой
Насельник вятский, вологодский
Германцем истинным? Казался немчурой
И аккуратный Заболоцкий.

Но чисто русское безумье было в нем
И бурь подавленных величье,
Обэриутский бред союзничал с огнем
И зажигал глаза мужичьи.

Он у Кавериных нашел покой и дом,
Но помнил лагерь Казахстана,
А я квартировал вблизи, и мы вдвоем
Садились в поезд постоянно,

И возвращались мы в вечернем феврале,
Сходясь на Киевском вокзале.
Вольготно водочкой с икоркой на столе
При корифее торговали!

С подначкой, с шуточкой,— у каждого портфель, —
Откушали — я сто, он — двести,
И в пригородный! Пусть шумит себе метель,
Мы будем через час на месте.

Но что с ним? Оборвал свой смех. Взгляд напряжен.
Смотрю туда же: грязь, окурки,
Две тетки на скамье, а третий, — кто же он?
Очки. Треух. Тулупчик. Бурки.

«А в тамбуре — второй. Сейчас меня возьмут».
Застывший взгляд и дробный шепот.
О долгий ужас тех мистических минут,
О их бессмысленность и опыт!

Мы в Переделкине сошли. Сошел и тот.
А некто в форменной тужурке:
«Где будет Лукино?» — «Вон там». И поворот,
И я оглядываюсь: бурки!

Оставили шоссе. Свернули в Лукино.
Дошли проулками до дачи.
Безлюдно и черно. Чуть светится окно.
Есть водка. Будет чай горячий.

Волнуются жена и дети. Впятером
Ждем час и два. Ну, слава Богу —
Ошибка: не пришли! И он, дыша теплом,
В себя приходит понемногу

И улыбается: «Начальника признать
Легко, а бурки — признак первый».
А Катя: «Коленька, могу тебя понять,
В вагоне разыгрались нервы».

Я знаю, что собрат зверей, растений, птиц, —
Боялся он до дней конечных
Волков-опричников, волков-самоубийц,
Волчиных мастеров заплечных...

Владельцы прежние забылись. Тот убит,
Тот умер, те в грязи застыли.
«Патрокла нет, но жив презрительный Терсит!» —
В классическом воскликнем стиле.

Здесь в молодости я кой у кого бывал.
Здесь, прячась куколкою в кокон,
Пильняк, сей шваб и баб любитель, самохвал,
Смотрел на пруд из верхних окон:

«Царила в страховой компании семья.
Любимец тетки-лютеранки,

Поверьте рыжему вралю, что вырос я
В том самом доме на Лубянке».

Как в рыбьей чешуе — в японской шубе, франт,
Актер — и вдруг художник зрячий...
Дружил, ценя его неряшливый талант,
С ним Пастернак, сосед по даче.

Сюда заявятся порою книжный крот
Или славистка из Канады,
Но здесь теперь певец угрозыска живет
И лает мопс из-за ограды.

Кто вспомнит, кроме них, — офени-чудака
И старой стройной иностранки, —
Как взяли, а потом убили Пильняка
В том самом доме на Лубянке.

Тогда-то Пастернак переменил жилье
И с вами повелось соседство,
Тогда-то вы ему доверили свое
Болезнью скошенное детство.

Такое же, как вы, но божество-дитя,
Он сам творил закономерность,
Доверьем радостным Ивановым платя
За их мужающую верность.

Там, где внизу река пугливая текла,
Полузадушена осокой,
На горке перед ним златились купола
Сияньем Индии далекой.

Когда из катакомб их вывел Константин,
Не знали храмов христиане.
Кто первым зодчим был, кто им воздвиг притин,
Найдя образчик в Хиндустане?

С тех пор и на Руси златятся купола,
Азийски, молодо круглятся,
И вьюга русская их чудно берегла
От нищей злобы святотатца.

Был в деда Пастернак, а тот, широкоплеч,
В Одессе промышлял извозом,
Но внука русская благословила речь
На службу соснам и березам.

И может быть, решив, что на Руси святой
Поэта нет вне православья,
За христианскою пошел он красотой,
Как бы на поиск равноправья?

Не сразу понял он, что кесарь наш — злодей,
Что смерть луга кругом косила.
Не сразу сделалась понятной для властей
Его смущающая сила.

Он вашего отца «берложным» называл —
Сибиряка с кипчакским глазом,
Кто в тайном тайное нашел, кто волновал
То странной выдумкой, то сказом.

Вас полюбил поэт в начале ваших дней,
И вы, забав не зная детских,
С ним шли среди корней, что были вам трудней
Корней хурритских или хеттских.

Давно ль стихи мальца хвалил он — и не раз, —
Но трубно, путано и длинно,
И, чем-то удивлен, он вскидывал на вас
Глаза коня и бедуина.

Меж вашей улицей и кладбищем, где врос
Он в землю, нежную до боли,

Где нынче широко распространил колхоз
    Свое картофельное поле,

Единоличник жил. Подумать: все — в числе,
    И только он — единоличник.
Прилежный белорус, он родич был земле,
    Хоть праздновал Октябрь-Кастричник.

Хотел он власть признать, как сделал Пастернак,
    Но жить, как Пастернак, отдельно,
И был, как Пастернак, в метельный загнан мрак
    И яростью сожжен смертельной.

Единоличники дружили: наш чудной
    Поэт и пахарь сивоусый.
Остались на земле стихи, но со стерней
    Сравняли хату белоруса.

Я помню летний день, и Ольгу на краю
    Крыльца — с ее клеймом изгойства,
И в доме я в ногах у мертвеца стою
    Средь горя, музыки, геройства.

А в чем геройство? В том, что мы пришли сюда,
    Где вдруг осиротели птицы?
Где соглядатаи родились до стыда?
    Где, бородатый, смуглолицый,

Под зеленью стоял, задумавшись, босой
    Философ Голосовкер Яков,
Для снимков привлекал славянской простотой
    Американцев и поляков...

Да, не явились мы, чтоб исключать его,
    И руки не взвились, как плети,
И дьявол не собрал сообщества всего,
    Всех, водоплавающих в Лете.

Мы — Кукольников клан, Неведомских слои,
Бумажные кариатиды,
Хвостовых, Раичей, Маркевичей рои
И Баранцевичей подвиды, —

Как смеем хвастаться, что светел был порыв?
Нам надо, скопищу виновных,
У Господа просить, чтоб, нас простив, укрыв,
Хоть отделил от злобесовных!

Прости меня, прости, прости, я виноват;
Я в маскарад втесался пестрый,
А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,
Его душа с моею — сестры.

Предмартовская нас тесней слила беда;
Делили крышу и печали;
Так почему же я безмолвствовал, когда
Его роман арестовали?

Всегда вини себя, а время не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми.
Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь,
В твое родившаяся время.

Тебя пугает власть? Не бойся, ты силен,
Пока для жизни предстоящей
Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон,
Возникший в купине горящей.

Как мил мне Божий мир! В набухших облаках
Прогалины лазури тонкой,
И пятна бузины — как кровь на локотках
В кустах бегущего внучонка,

И дождь, когда влажны крапива у оград
И пижмы желтое суконце,

И кажется, что лес — не лес, а вертоград,
И, как вино, вкушаешь солнце,

И та лощина, где меж вязов-богачей
Осины жмутся, как неровни,
И может, камушки — осколки кирпичей
Старинной сгубленной часовни.

Как много сгублено! Я видел сей содом:
Здесь, в страхе ночи деревенской,
Лев Каменев дрожал, с ума сходил Артем
И жег Париж Бруно Ясенский.

Здесь Бабель мне свою «Марию» подарил.
Зимой предместной наслаждаясь,
«От уз грамматики,— серьезно говорил,—
В Одессе я освобождаюсь:

К киоску подхожу: «Прошу стакан вода...»
Где эти речи озорные?
Где той зимы снега? Где той зимы среда?
Где Бабель и его Мария?

Где волк, который мог всплакнуть, задрав овцу,
И к вдохновенью приобщиться,
Над пропастью хитря, шатаясь, шел к концу,
Чтоб кончить, как самоубийца?

Иные господа теперь гуляют здесь.
При встрече с нами отвернуться
Что принуждает их? Вражда? Бессилье? Спесь?
Боязнь к крамоле прикоснуться?

Рядятся призраки: вот барин — сановит,
Хотя филером был когда-то;
Вот сельский лавочник; а вот полезный жид
С походкой члена юденрата.

Жестоки ли они? Хитры? Коварны? Вздор,
Не снисходи сердиться, Инна!
Жесток бывает зверь, и человек хитер,
И в хищности трава повинна.

Но где ты видела, чтоб хищным был предмет?
Чтобы хитрило неживое?
Их нет: для жизни нет, но и для смерти нет,
То морок, марево дурное.

Вон тот, с бородкою, растаял, как фантом.
Спустился вечер синеватый.
Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.
К ней можно: час пошел девятый.

Один из тех, кто был никем, а стал никто,
Сказал с восточным простодушьем:
«Мешает людям жить осиное гнездо.
Мы дом Чуковского разрушим».

И в самом деле: дом, на воздухе держась
И сыростью изъеден, рухнет.
Порвется ниточка — с прекрасным прошлым связь —
И драгоценный луч потухнет.

Но по ночам не спит владелица луча,
И, свет бесстрашно укрепляя,
Она работает, не слушаясь врача,
Упрямая, полуслепая.

И память движется с воинственным пером
По всем путям и перепутьям...
Мы вечером сидим на лавочке втроем,
Беседуем, грустим и шутим.

Опоры кое-как подправить удалось
Гуманитариям-студентам

И дыры залепить; до утра улеглось
Корыто старое с цементом.

Мы удивляемся тому, что день погас,
Но зорко смотрит лунным кругом,
И вспоминаем ту, кто связывает нас
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.

1981-1982 гг.

ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ

1

Удивительно белый хлеб в Краснодаре,
Он не только белый, он легкий и свежий!
На колхозном базаре всего так много,
Что тебе ни к чему талоны коменданта:
Адыгейские ряженки и сыры,
Сухофрукты в сапетках, в бутылях вино
Местной давки — дешевое, озорное
И чуть мутное, цвета казачьей сабли.
На столах оцинкованных — светлое сало,
И гусиные потроха, и арбузы,
Что хозяйки зимой замочили к весне,
К нашей первой военной весне.

Ты счастливчик, техник-интендант, счастливчик!
Молодой, война прогнала все болезни,
Впереди, — кто знает, что случится впереди,
Как певал твой отец.
Ты побрился утром перед зеркальцем в грузовике,
В боковом кармане запыленной венгерки
Куча денег: дивизионный начфин
Выдал за четыре месяца сразу.
Какой же ты ловкий, техник-интендант!
Ты не только ловкий, — ты удачливый, умный,
И ты не убит, и умеешь обращаться с начальством,
И как тебя красит степной, черно-красный загар!

Пять полуторок ты раздобыл для дивизии,
Раздобыл за три дня, — и неделя в запасе,
Гуляй!
Документы в порядке, в Краснодаре весна,
Возле мазанки, синей по здешним обычаям,

Где живут какие-то родичи Помазана,
Пять полуторок смотрят друг другу в затылок,
И все они новые, и все защитного цвета,
И густо блестят неровно положенной краской,
И вызывают почтенье к хозяевам дома.
А старенький ваш грузовик, побуревший от пыли,
Помятый войною осколок степи,
Стоит во дворе под широким каштаном.
На зеленых бушлатах в кузове спят шофера,
Когда возвращаются на рассвете от женщин,
А вы с Помазаном на веранде лежите, как боги,
На простынях хозяйских.

Ты пьян от вина, от вкусной базарной еды,
От весны, от ожиданья чего-то чудесного,
От того, что ты в городе, где есть вино и бульвары,
Где нет под тобой — седла, пред тобой — врага,
Над тобой — начальника, нет ковыля и полыни.
Вот сейчас
Ты задумчиво спрыгнул с открытой площадки
трамвая,
Постоял и от нечего делать
Вошел в магазин, где на полках — книги, тетради
Из оберточной, серой бумаги, линейки, пеналы.
Грязно-седая, с накрашенными губами продавщица
Встречает отказом: — Домино и карты
по заявкам! —
А ты несыто, разочарованно смотришь на книги,
И остро вдруг вспоминаешь, что ты — филолог,
И неизвестно зачем покупаешь польско-русский
словарь.
— Вы интересуетесь разговаривать на польском? —
У того, кто спрашивает, нерусский акцент
И пиджак нерусского покроя.
Загорелая лысина круто нисходит на брови,
Тяжелые, черные, как у владык ассирийских.
В запавших глазах — местечковое пламя смятенья,

Горбатый нос облупился, щеки небриты,
Он обдает тебя смешанным запахом кожи,
Конского пота, вина, чеснока и навоза.
Ты выходишь на улицу вместе с новым знакомым.
В Польше он был адвокатом, теперь он сторож
В пригородном совхозе, вон там, за рекою.
Он так тебе рад! Он учился в Варшаве и Вене,
Был коммунистом, был в Поалей-Ционе,
Теперь увлечен толстовством.
Жестикулируя, самозабвенно картавя
(Давно ты заметил, что каждый картавит по-своему),
Путая все диалекты, в ухо кричит имена —
Каутский, Ганди, Бём-Баверк, и Фрейд, и Бергсон.

Подозрительно откровенный,
Он потрясен алогизмом чужого режима,
Жестоким его палаческим простодушьем.
В нашем воистину сильном, державном вожде
Странны черты вождя негритянского племени:
Слабость, свирепость, боязнь и лживость актера.
Странно и то, что Государство, ликуя,
Провозглашает своего человека
Доблестным, добрым, умным, сильным, красивым,
А между тем в учреждениях Государства,
Даже в таких безобидных, как парк культуры,
Продовольственный магази́н или почта,
Смотрят на вас как на вора и дурачка
С тысячью мелких пороков...

Твой собеседник взволнован встречей с тобой,
Жаркой возможностью выговориться: так долго
Вел он только с самим собой диалог, —
Но для тебя страшней, чем немецкие танки,
Эти запавшие, с огнем Исайи, глаза,
Эти безумные речи, это знакомство
С ним, интернированным,

И резко, с внезапностью низкой, ты покидаешь его
Посреди весенней толпы, и он поражен
Новой бессмыслицей, чуждым ему алогизмом.
Но так как ты не только труслив и разумен,
Но так как ты человек, то на углу
Ты оборачиваешься и чувствуешь сам,
Что у тебя в глазах мольба о прощенье.
И он, опавший листок европейского леса,
Тотальным вихрем тридцать девятого года
Занесенный в кубанский совхоз, —
Он тоже стоит и без злобы глядит на тебя,
Хотя и насупил свои ассирийские брови.

И вдруг тебе несвойственным провидящим взором,
Быть может заимствованным
У того человека с глазами Исайи,
Видишь ты лето, грядущее, близкое лето.
Вашей дивизии разрозненные отряды,
Кто на конях, кто пешком, потеряв друг друга,
Мечутся между Сальском и Армавиром.
Черная степь. Лунный серп висит над бахчами,
И кажется, будто на нем — капельки крови.
Все взбудоражены, заснуть в эту ночь не хотят
Ящерицы и цикады, листья и птицы
И говорят, говорят о войне людей,
Но сами люди молчат, люди — и лошади.
Где-то вдали мигают какие-то пули, —
Иль то огоньки цигарок? Падучие звезды?
Конников скудную горсть возглавляет калмык —
Толстый от старости кривоногий полковник
С глиняным, гладким лицом,
Добрый вояка, герой гражданской войны.
Все ему надоело: бёзостановочный драп,
Ночи без сна, невозможность сойтись в рукопашной
С колдовским могуществом немцев, длинная служба
С медленным ядом обид и Курц, комиссар,
Эрудированный товарищ, но жуткий стукач...

— Пан официр! Панове! Куда вы! Тут немцы! —
Кричит верховой, внезапно возникший из тьмы
И лунным серпом отрезанный от нее.
Он босиком, в ватных штанах и в майке,
Лошадь под ним без седла, в руке — ремешок.
В мире, где головы
Прикрыты военной мощью пропотевших пилоток,
Лысина его — как обнаженное бессилье.
«Пан официр!» — передразнивает полковник,
И голос его обретает хриплую властность.
— Рубайте его, это немец! — Полковник не знает,
Что снова чумным дыханьем тотального вихря
Подхватило твоего знакомца из Краснодара
Вместе с его совхозом, с его смятеньем,
Но многоопытный Курц разобрался, к счастью,
И чуточку нервно шутит: — Если б немцы были
такими!
Это же наш, бердичевский! —
Скоро ль конец?
Долго ли будет метаться в южной степи
С овцами-рамбулье адвокат из Варшавы?
Схватят его, превратят в золу?
Или ему иная назначена гибель?
Конников горстка встретится ль с горсткой другой?
Старый калмык, полковник с глиняным ликом
божка,
Четверть столетья прослуживший в строю,
Бывший фельдфебелем еще при Керенском, —
Что он, полковник, смыслит в этой войне?
Будет он храбро, хитро, умело сражаться
И непременно вырвется из окруженья,
Но для чего?
Чтобы в ночь под новый сорок четвертый год
Весь его древний народ выселен был из степи?
Техник-интендант, ах, техник-интендант,

Ничего-то еще ты не понял, ничего ты в мире
не видел,
Кроме себя самого!

2

Ты садишься на скамейке в тенистом сквере,
И весьма неудачно: по этой аллее
Все время выходят из штаба фронта
Большие начальники, а у них за спиной —
Позорное, быстрое бегство из Крыма,
Поэтому они особенно жизнелюбивы,
Щеголеваты и деловито-важны.
К тому же тебя немного смущают
Увенчанные шестимесячной завивкой
Разбитные сержанты-девахи в платьях,
Сшитых в генеральских пошивочных.

— Здорово, техник-интендант, загораешь?
До вас обращаюсь, братья и сестры мои! —
Ты поднимаешь голову и видишь Заднепрука,
Сорокалетнего старшего лейтенанта,
Который в твоей кавалерийской дивизии
Давно болтается без назначенья.
Коричневые щеки, живые, острые глазки,
Вывороченная, от старого раненья, верхняя губа,
Жесткие, под бобрик стриженные волосы,
Посыпанные серой солью соликамского лагеря,
Плечи — как печь, облитые голубой венгеркой,
На колоколе-груди — единственная награда:
Новенькая медаль «XX лет РККА».

— Здесь, в городу, одна работа:
Укладка дыма, трамбовка воздуха.
Ты в командировке? Само собой! —
Отвечает он за тебя и садится рядом.
Слова из его изуродованного рта

Выскакивают, как пули, с присвистом резким:
— Был я на парткомиссии фронта, —
Восстановили. Честь и совесть эпохи.
Думаешь просто? С главным добился беседы,
Он меня сразу вспомнил, по Первой Конной.
«Сам, — говорит, — ожидал, что башку мне снимут
Или отправят в последний рейд, как тебя,
Чистить подковы медведям.
Сталин великий, бывало, покличет меня и Оку, —
Учти — маршала и генерал-полковника, —
Мы перед ним вдвоем поем и танцуем:
Хоть не артисты, а все же верные люди,
Но в голове, понимаешь, другие танцы...
Баба есть? Ничего, заведешь медицинскую.
Ты поезжай, получишь майора и полк!»
Ехать-то надо, но пару деньков отдохну:
Личной жизни совершенно не имею.
Слушай, дай мне пятьсот рублей! —
И вы расстаетесь, еще не зная,
Что будете скоро нужны друг другу,
И ты, счастливый блаженным счастьем безделья
И чувством,
что всю неделю никому не подвластен,
Спускаешься по улице, вечерней, весенней.
Безо всякой цели, мимо лодочной станции,
К печально ревущей Кубани.
Кажется, будто под нею кузнечный горн,
Так шумно она бурлит.
Кажется, будто вся земля — ее кровник,
Так она грозно и яростно рвется на берег.
Ты смотришь с обрыва, — и река тебя кружит,
как время.
А время бежит, как бешеная река,
Не поймешь по верховьям, каковы низины.
Ты еще здесь, где весна, а время твое — впереди,
Время твое в степи, в июльской степи,
Окруженной врагом.

3

Что же ты видишь на дне времени — бурной реки,
Что же ты видишь из щелей НП,
Куда ты направлен начальником штаба?
Займище, донские луга,
Лес на бугре, полосу воды,
Из которой, как пьяные, вылезают деревья,
А рядом с ними — трехмесячный жеребенок
Выходит, будто на цыпочках,
Прижимая мордочку к бабкам...
В окопе, к сыпучей стене,
Приколот бурьяном свежий лозунг:
«Немец не пройдет через Дон!»
На другом берегу с утра взрываются бомбы,
А по ночам вспыхивают ракеты.
Черные от пыли худые люди
Трудно идут, будто работают,
За плечами скарб: шахтеры из города Шахты.
У переправы — столпотворенье,
Великое переселение жителей,
Великая перекочевка скота,
Великий драп вооруженных военных.
Все хотят попасть на паром,
Который в руках вашей скромной дивизии,
Все бегут.

Какой-то лейтенант забрел в сарай
И начал стрелять из парабеллума в воздух.
Проверили документы — все в порядке,
Он помпотех артдивизиона,
Он потерял свою часть.
Говорит, застенчиво улыбаясь:
— Иду из Миллерово на Сталинград.
— Почему стреляли? — Та-ак!

Утро, донское рассеянное утро.
Ветер с востока, из калмыцкой степи

Веет песком — зыбучим жильем ковыля,
Горько-соленой землей, зноем, древностью жизни,
Теплым кизячным дымом, кумысным хмелем.
Слышится в нем и рев скота четырех родов,
И голоса набегов, кочевий, становий.
А западный ветер
Нежен и мягок, он летит из большого мира,
Изнеженного услугами цивилизации,
Он обрывается торопливо и больно,
Словно свисток маневрового паровоза.

Техник-интендант, ах техник-интендант,
Знаешь ли ты теперь, как начинается
Кавалерийской дивизии дикое бегство?
На берегу, в вишневых садах, стреляют,
В штабе, в политотделе, как в сельсовете,
Сонно звенят, не веря в себя, телефоны.
Лошади у коновязи казачьей
С доброй насмешкой смотрят в раскрытые окна
На писарей, на развешанные листы
Нашей наглядной агитации...
Рано смеетесь, военные кони, рано смеетесь!

Тихо и пыльно, и дня долгота горяча.
Вот командир химического эскадрона
Самостоятельно учится конному делу.
Озабоченно бредет редактор газеты:
Ему обещаны хромовые сапоги.
Машина редакции, крытая черным брезентом,
Стоит на границе хутора и степи,
В самом тылу сражающейся дивизии,
А степь, животно живущая степь,
Выгорающей травой, окаменевшими лужами,
Казачками, с виду так безмятежно
Стирающими в реке срамное белье, —
А эта река и есть передовая, —

Степь вливается в небо, как в тело душа,
Грубость жизни и прелесть жизни.

— Танки! Танки! Мы в окружении! —
Кричит, ниоткуда возникнув, конник
И пропадает.
И там, на востоке, где степь вливается в небо,
Неожиданно, как в открытом море подводные лодки,
Появляются темные, почти недвижные чудища.
И тогда срывается с места, бежит земля,
И то, что было ее составными частями, —
Дома, сараи, посевы, луга, сады
Сливаются в единое, вращающееся целое,
И дивизия тоже бежит, срывается с места,
Но то, что казалось единым целым,
То, что существовало, подчиняясь законам,
Как бы похожим на закон всемирного тяготения, —
Распадается на составные части.
Нет эскадронов, полков, штабов,
командных пунктов,
Нет командиров, нет комиссаров, нет государства,
Исчезает солдат и рождается житель,
И житель бежит, чтобы жить.

И самый жестокий, находчивый, смелый начальник
Уже не способен остановить бегущих,
Потому что в это мгновение, полное ужаса
И какой-то хитро-безумной надежды,
Уже не солдаты скачут верхом, а жители.

Это видно прежде всего потому,
Что всадники мчатся на все четыре стороны света,
Кто от немца, кто к немцу.
Это видно и потому, что меж ними
Бегут, задыхаясь в душной пыли,
Конники без лошадей и лошади без верховых,
Это видно прежде всего потому,

Что боится всех больше тот, кого все боялись;
Оказалось, что особист Обносов,
Капитан двухсаженного роста с широким лицом,
Все черты которого сгруппированы в центре,
Оставляя неизведанное пространство белого мяса, —
Оказалось, что страшный особист Обносов
Обладает бабьим, рыхлым телосложеньем
И чуть ли не по-бабьи плачет над сейфом,
В котором хранится величайшая ценность державы:
Доносы агентов на дивизионные кадры,
Ибо кадры, как учит нас вождь, решают все.

4

— За Родину! За Сталина! —
Это навстречу бронемашинам ринулся в степь
Командир обескровленного эскадрона,
Стоявшего насмерть в вишневых садах.
Ты вспомнил его: Церен Пюрбеев,
Гордость политработников, образцовый кавалерист,
У которого самое смуглое в дивизии лицо,
У которого самые белые зубы и подворотнички,
У которого под пленкой загара
Круглятся скулы и движутся желваки.
Маленький, в твердой бурке, он ладно сидит верхом,
Хотя у него неуклюжей формы
Противотанковое ружье.
Он стреляет в бортовую часть бронемашин.
Ему стыдно за нас, за себя, за свое племя,
За то материнское молоко,
Которое он пил из потной груди,
Он хочет верить, что поднимет бойцов,
Но все бегут, бегут.
И только ты как зачарованный смотришь, ты видишь:
Голова Пюрбеева в желтой пилотке
Отскакивает от черной бурки,

Лошадь вздрагивает, а бурка
Еще продолжает сидеть в седле...

Время! Что ты есть — мгновение или вечность?
Племя! Что ты есть — целое или часть?
Грамотная его сестра в это утро
Читает отцу в улусной кибитке
Полученный от Церена треугольник.
Безнадежно-больной чабан с выщипанной бородкой
Кивает в лад
Учтиво, хорошо составленным словам сына,
А голова сына катится по донской траве.
Настанет ночь под новый, сорок четвертый год.
Его сестру, и весь улус, и все калмыцкое племя
Увезут на машинах, а потом в теплушках в Сибирь.
Но разве может жить без него степная трава,
Но разве может жить на земле человечество,
Если оно не досчитается хотя бы одного,
Даже самого малого племени?
Но что ты об этом знаешь, техник-интендант?
Ты недвижен, а время уносит тебя, как река.

Ты останешься жить, ты будешь стоять,
Не так, как теперь, в безумии бегства,
А в напряженном, деловом ожидании,
Сырым, грязным, зимним утром
На сгоревшей станции под Сталинградом.
Ты увидишь непонятный состав, конвойных,
Из узкого, тюремного окна теплушки,
Остановившейся против крана с кипятком,
На тебя посмотрят косого разреза глаза,
Цвета подточенной напильником стали.
Такими глазами смотрят породистые кони,
Когда их в трехтонках, за ненадобностью,
Увозят на мясокомбинат,
Такими глазами смотрит сама печаль земли

Бесконечная, как время
Или как степь.

Быть может, это смотрит сестра Церена,
Образованная Нина Пюрбеева,
Всегда аккуратная учительница,
Такая длиннокосая и такая тоненькая,
С твердыми понятиями о любви,
О синтаксисе, о культурности.
В ее чемодане, —
А им разрешили взять
По одному чемодану на человека, —
Справка о геройской звезде
Посмертно награжденного брата,
Книга народного, буддийского эпоса,
Иллюстрированная знаменитым
русским художником,
Кое-что из белья и одежды,
Пачка плиточного чая
И ни кусочка хлеба, чтобы обмануть голодный
желудок,
Ни травинки, ни суслика,
А бывало,
Покойные родители и суслика бросали в казан.
В той же самой теплушке —
Круглая, крепкая, с налитыми ягодицами —
Золотозубая Тегряш Бимбаева,
Еще недавно видный профсоюзный деятель,
Мать четырех детей и жена предателя,
Полицая, удравшего вместе с немцами.
Она-то понимала, что ее непременно вышлют,
Она-то к этому заранее подготовилась,
В ее пяти чемоданах полно союзнических консервов,
Есть колбаса, есть концентраты.
От всего сердца
Она предлагает одну банку своей подруге,
Она предлагает одну банку сестре героя,

Но та не берет.
— Бери! Бери! — кричат старухи. —
Мы же одного племени, одной крови! —
Но та не берет.
— Бери! Бери! — кричат плоскогрудые молодые
женщины. —
Разве она отвечает за мужа?

Что же ты стоишь, техник-интендант?
(Впрочем, ты уже будешь тогда капитаном.)
Видишь ты эту теплушку?
Слышишь ты эти крики?
Останови состав с высланным племенем:
Поголовная смерть одного, даже малого племени,
Есть бесславный конец всего человечества!
Останови состав, останови!
Иначе — ты виноват, ты, ты, ты виноват!

— Алё! Ты сказился? Хочешь к немцу попасть?
Только тебя он и ждал!
А ну, залезай в машину, вот в эту! —
С присвистом, сверху, с коня,
Среди вращающейся травы и всеобщего бегства,
Приказывает тебе майор Заднепрук,
Чей полк рассыпался, как песок,
Степной песок.
И вот уже ты в машине редакции
И стукаешься козырьком о рычаг «американки».
Наборщики, пожилые солдаты,
Придерживают подпрыгивающие в кассе буквы.
Оказывается, водитель машины — Помазан.
Машина тоже пускается в бегство,
И в оконце, прорезанном в черном брезенте,
На мгновение возникает скачущий Заднепрук,
По-командирски размахивающий свободной рукою,
А в ложбинке под красноталом —
Безропотно заснувший последним сном

Трехмесячный жеребенок: наверно, тот самый,
Что на заре выходил на цыпочках из Дона.

5

Помазан об этом еще ничего не знает.
Он еще с тобою в командировке,
Он еще рядом храпит на веранде,
В доме у каких-то своих родичей,
Еще, как уголь, черна весенняя ночь,
Еще ты усмехаешься,
Вспоминая, как давеча сказал Заднепрук:
«Личной жизни совершенно не имею»,
Еще ты надеешься
На приятное приключение в Краснодаре,
А перед тобой уже начинает светиться
Измученное, молодое лицо,
Ставшее прекрасным от боли разлуки,
Запретные слезы в длинных глазах,
Волосы до плеч, дрожащие руки
И глупые, вечные слова...

Это было в конце обманного марта,
Когда в тяжелом от влаги и холода воздухе
Внезапно рождаются дуновенья
Отчаянного, по-молодому резкого тепла,
Когда в широких, как озера, лужах
Отражаются, подобные майе индусов,
Призрачные небесные чертоги,
Сработанные из червонного золота степных марев.
Только что заново сформировавшись
После одного из зимних рейдов, —
У конников, как известно, мотыльковая жизнь, —
Ваша дивизия,
Чем-то напоминая племя в пору перекочевки,
Снова двинулась всем хозяйством
Поближе к огню войны.

Ты с квартирьерами был отправлен вперед.
В станице, где приказано было отдохнуть
Людскому и конскому составу
(А сколько дней — об этом знало начальство),
Как всегда, умело были выбраны дома:
В школе разместили штаб и политотдел,
Дом директора школы,
Женщины содержательной, чистоплотной,
В очках и серьгах с подвесками,
Предназначен был комиссару Курцу,
Дом председателя колхоза, уютный дом,
Полный солений, варений и настоек, —
Вашему командиру-полковнику,
Особиста Обносова поместили
В доме партийного секретаря,
Начальнику штаба,
От которого зависит все на свете
(На том и на этом),
Отвели помещение у докторши...

А ты, верхом на кобылке Бирюзе,
Медленно, как охотник, двигаясь по станичному порядку,
Увидел в окошке лицо,
Которое ты не можешь забыть.
Но разве ты знал тогда, что его не забудешь?
Когда ты привязал Бирюзу к коновязи,
Когда открыл тебе двери шестилетний Сашка,
Светлоголовый, в бязевой рубашке навыпуск,
Когда ты вошел в давно не топленное чистое зало,
Когда ты увидел молодое, смуглое, немного цыганское лицо,
Когда ты увидел эти длинные, черные глаза,
Блестящие от ожиданья и стыда,
От уверенности и смятенья,
Когда ты впервые услышал голос
Робкий, смеющийся, дерзкий и грустный:

— Может, вам будет у нас нехорошо? —
Думал ли ты, что этот голос, эти глаза
Навсегда останутся в твоей душе?

В те счастливые дни
Ты хотел смотреть на нее свысока,
Потому что ночью она пришла к тебе сама,
Потому что шептала тебе словечки
Вроде «сладкий» или «желанный»
Или: «Лучше бы вы сюда не приезжали,
Вы запали мне в сердце»,
Или говорила о муже-механике,
От которого давно не было писем из армии:
«Он статный, здоровый и, когда трезвый,
так сносный,
Только перед вами двумя я виноватая,
Перед ним и перед тобой», —
Ты хотел ее презирать и не мог,
Потому что к тебе, глупому технику-интенданту,
Пришла, — да что там пришла! — снизошла любовь.

И когда, в конце недели,
Вы покидали эту степную станицу
И ты уже сидел перед ее домом верхом,
А она, не стыдясь соседок и военных,
Что-то кричала, как потерянная,
И то гладила, то целовала твою руку,
Неумело державшую плетеный чембур,
А ее Сашутка почему-то угрюмо плакал, —
С каким облегчением ты уезжал оттуда!

6

Но постепенно эта беспечная легкость
В твоей душе
Сделалась тяжестью, и светлой, и нищей,
Помнишь девятое утро вашего бегства?

Огненно-красный туман вставал над прудом,
И вы, притихнув, на него смотрели
Из погреба разрушенного дома.
«Выходом» в этих краях называется погреб,
Но вы не видели выхода.
Еще вчера вас было полтысячи, что ли,
А в это утро осталось двадцать четыре...

Недалеко от станции Палагиада
Вам, вчера пятистам, преградил дорогу
Заградотряд: наконец-то какая-то власть!
«Хватит драпать, пора занять оборону!» —
И зачитали вам Сталина новый приказ:
Кругом казачья Вандея,
Идейно зараженная местность,
Деморализация армий Южного фронта,
Нужны суровые меры, штрафные роты,
Поведение ваше можно искупить только кровью.

Полковник, даже в беде не похудевший,
Приободрился: «Займем оборону».
Мгновенный бой, — «кулаками против танков», —
Как выразился редактор (вчера он погиб), —
И снова развеяло вас в разные стороны,
А к вам занесло двоих из Заградотряда, —
Вместе, значит, вам драпать, —
И вы повторяете снова: — Где эскадроны?
Где полковник? Где комиссар? Где штаб?
Где ваши кони, тачанки, грузовики?
Как оказались вы в этом погребе —
Восемнадцать бойцов, три сержанта и три офицера:
Ты, майор Заднепрук и капитан Обносов —
Не призрак ли? — со своим драгоценным сейфом...

Смутно вспоминался вчерашний бой, —
Смутно, потому что нельзя было понять:
Что же вы обороняли, заняв оборону,

Если немцы — слева и справа, позади и впереди?
Все вы легли в чужие, свежие окопы, —
И строевые, и шоферня, и штабные, —
Все по команде стреляли,
Все, кроме Обносова и его коновода,
Сидевших в тачанке в дальней лощине
И оберегавших сейф.
И, как нельзя было понять,
Для чего взлетел в воздух красавец-дуб,
На котором висели провода,
Так нельзя было понять,
В какую сторону вам нужно идти сейчас,
Еще вчера вы были бегущей, но военной частью,
А теперь вы стали частью ветра и пыли.

Но пусть вам чудится, что за прудом
Команда ведется уже не по-русски, —
Здесь, около вас,
По-прежнему по-русски разговаривают хлеба,
Умоляя о жатве,
По-прежнему, как в русской деревенской кузне,
Темно, и дымно, и красно в закатном небе.
И вы дождались ночи и пошли,
И пошли правильно: к своим.
Но почему же ты начал искать своих
Только с того дня,
Как вторглись в страну чужие?

Так непомерна была захваченная земля,
Что в первые дни разгрома
Не хватало на нее немецких солдат,
И были станицы, хутора без властей.
В сам деле, чудо из чудес:
Земля без властей, поля без властей,
Без немецких и наших,
Население без властей,
Ночи — пусть две или три — без властей,

А по утрам, просыпаясь,
Листья, казалось, трепетали в росе:
«Нет властей! Нет властей!»

Вы спите только днем — в сарае, в хлеву,
в кукурузе.
А вечером один из вас
Вынужден спрашивать у станичника:
— Наши давно ушли?
— А кто это ваши?
— Красная армия.
— Так то не наши, а ваши.
Тогда, поумнев, уточняете по-иному:
— Наши — это русские.
— Так то не наши.
— А вы разве не русские?
— Не. Мы казаки. А скажите, товарищ
(А губы язвят, а в глазах — все, что зовется
жизнью), —
Может, вы из жидов? —
И вот что странно: именно тогда,
Когда ты увидел эту землю без власти,
Именно тогда,
Когда ты ее видел только по ночам,
Только по беззвездным, страшным,
первобытным ночам,
Именно тогда,
Когда многолетняя покорность людей
Грозно сменилась темной враждебностью, —
Именно тогда ты впервые почувствовал,
Что эта земля — Россия,
И что ты — Россия,
И что ты без России — ничто,
И какое-то безумное, хмельное, обреченное
на гибель,
Обрученное со смертью счастье свободы
Проникало в твое существо,

Становилось твоим существом,
И тебе хотелось от этого нового счастья плакать
И целовать неласковую казачью землю, —
А уж до чего она была к вам неласкова!

7

— Есть информация, товарищи командиры, —
Сказал Обносов тебе и Заднепруку,
А дело было в шалашике, и перед вами
Уже не донская текла, а моздокская степь,
И Заднепрук не мог бы ответить,
Для чего это он бережет ненужную, донскую,
Исчерпанную вашим бегством семиверстку. —
Есть информация, товарищи командиры:
Помазан вчера сжег свой партийный билет.
Это видел собственными глазами
Сержант Ларичев, из 313-го,
Наблюдавший за ним по моему указанию:
Был сигнал.
Предлагаю: ночью созвать отряд,
Вам, товарищ майор, осветить обстановку
И расстрелять Помазана перед строем.

— Слушай, Обносов, — лениво сказал Заднепрук,
С присвистом воздвигая в три яруса брань, —
Потом разберемся. Дай, выйдем к своим.
Надоел ты, Обносов. Надоел. Ей-богу, надоел.
А нужен ты армии, чего скрывать,
Как седлу переменный ток.

— Что вы такое говорите, — вскричал Обносов
И онемел, и лишь губы дрожали
И оживали бледно-голубые глаза —
Кукольные стекляшки базарной выделки,
И его широкое, белое, как тесто, лицо
Впервые, — или тебе так показалось? —

Исказилось разумной, человеческой болью. —
Седлу — переменный ток... Что вы без меня?
Трусы, изменники Родины, дезертиры.
А вы, наш командир? «За недостатком улик», —
А все же была пятьдесят восьмая статья,
Пункт одиннадцать, кажется?
Окружение? Не случайно!
А в моем-то сейфе — знамя дивизии,
Круглая печать, товарищ майор.
Со мной вы кто? Военная часть.
А кто без меня? Горько слушать,
Не заслужил, товарищ майор.
Говорю вам не как командиру отряда,
А как коммунист коммунисту.

— Не паникуй, Обносов, — сказал Заднепрук, —
Сказал негромко, миролюбиво,
Но ты заметил, что и его можно смутить. —
Политически я отстал за четыре года,
Да и частота речи у меня слаба.
Не расстраивайся, Помазана расстреляем. —
А когда Обносов покинул шалашик,
В котором вы прятались от чужеземцев,
Острыми глазками впился в тебя Заднепрук:
— Слушай, тебе Помазан — дружок?
Вроде вы ездили вместе в тот, в Краснодар?
Ты с ним потолкуй, поня́л?

И ты потолковал с Помазаном.
Ты ему все рассказал и сказал: — Беги. —
Грязные, обовшивевшие,
Вы лежали рядом в зеленой кукурузе,
Поднявшей над вами листья-булаты.
Сверху припекало раннее солнце,
А голодному брюху было мокро от земли.
И ты узнал,
Что Помазан — не Помазан, а Терешко,

Что их семья — семиреченские хохлы,
Что отец у них был экономически сильный,
Вот и выслали их в тридцатом году,
Как класс,
И поселили на конечной станции
Одноколейной степной ветки,
На станции Дивное, — не знаешь?
Отсюда недалеко.
В этих безводных, суховейных местах
Так были названы все населенные пункты:
Дивное, Приютное, Изобильное, —
И повсюду комендатура.

Из Петровского один раз в день
Поезд подкатывался к платформе,
Как змея к воротам концентрационного рая,
Но с добрым шипением пара.
И все, —
А между ними и он, тринадцатилетний, —
С запаршивевшей головой и выпученным
животом, —
Кто с какою посудой
Бежали к паровозу, к вагонам, чтобы набрать воды,
А из самого хорошего вагона
Капала самая плохая вода,
Но пили и ту, сортирную воду.
Умерли мать, и братик, и две сестры.
И так же, как ты сейчас Помазану,
Отец сказал ему: — Беги,
Беги, сынок, пока не подох. —
И он убежал, убежал далеко,
А когда овладел профессией,
И зарегистрировался с одной официанткой,
И принял ее фамилию,
И бросил, конечно, жену, —
Он подался ближе к степным местам,

Устроился шофером в Сарепте,
Давал газ.
Там его и в партию приняли:
Шутка ли, непьющий шофер!
А к тому же — безответный, старательный,
Техническая голова,
А если и делал левые ездки,
То делился с диспетчером без скандалов,
По-хозяйственному...

А когда уже из дивизии
Отправили вас за машинами в Краснодар,
Он привел тебя и дружков-водителей
Не куда-нибудь, а в дом своего отца,
Женатого теперь на худой, высокой баптистке,
Тихой, как тень,
Тоже когда-то высланной, тоже из Дивного.
И новые дети родились у отца,
В новом, чужом для Помазана доме,
И отец работает кладовщиком
На складе торга, — соображаешь?
И опять он экономически сильный.
Но ты не видел, когда спал на веранде,
Как ночью он будил Помазана,
Седой, но все еще, как парубок, чернобровый,
Ставил на стол четверть первача
И пьяный, — сын-то не пил, — просил и плакал
шепотом:
— Пей, сыночек мой Степа,
Приехал все-таки к старому батьке в гости, —
А Степой звали того, умершего братика.

...Вечером случилось вот что:
Один из бойцов подполз к кошаре
(А полз, черт, с километр, не меньше!)
И выкрал овцу.
Да какое — выкрал, кто их теперь стерег!

Вы обрадовались — и была не была —
Разожгли небольшой костерок.
Как хорошо было свежее мясо
Заедать арбузом, сорванным на бахче!
Во время этого пира
Ты шепнул Заднепруку: — Порядок, —
А Заднепрук тебе сказал: — Дурак, —
И кончиком сабли
Поднес ко рту кусок мяса,
И ты понял, что Обносов за тобою следит.

Ночью вы пошли на восток,
А где он, восток, в ночной степи,
На плоской окраине материка,
Куда нахлынули тьмы тем
Чужих солдат и своих бед, —
Об этом знал один Заднепрук.
Издалека долетал собачий лай
И казался не очень опасным.
Из более далекого далека долетали
Повелительные наклонения немецких глаголов,
И это казалось вам более опасным.
Но самым опасным было то,
Что двигалось близко, рядом с вами,
Вокруг вас и внутри вас,
И две опасности,
Далекая и самая близкая,
Сливались и становились страхом.

Вы шли, узнавая друг друга по дыханью.
Сержант Ларичев и коновод Обносова
Менялись, несли сейф на своих плечах,
То и дело останавливаясь
И озираясь в недружелюбной тьме.
Огромная ночь, смежив усталые веки,
Бормотала о чем-то в больном сне
И вдруг, просыпаясь, вскрикивала в испуге,

Господи, что же это за крик?
Утром оказалось, что вас двадцать два:
Нет Обносова и Помазана.

— С фронтовым приветом, — позавидовал кто-то,
А Ларичев, сержант из 313-го
(Где-то он теперь, 313-й полк!),
Сказал, как-то по-детски заикаясь:
— Капитана убил Помазан и убег.

Но ты-то знал, кто убил особиста.
С горьким восторгом, с тяжелым трепетом
Поглядывал ты на саблю Заднепрука,
Упрятанную в щербатые ножны.
А тот приказал: «Ну-ка, вскроем» —
И вскрыли, с помощью Ларичева, сейф,
И доносы, объективки, сигналы,
Одни пожелтевшие, другие посвежее,
Полетели, закружились в степи,
В окруженной степи.
Но остались: красный кусок шелка, —
Знамя вашей кавдивизии —
И круглая печать.
Заднепрук не спеша сложил знамя,
Спрятал его и печать в карман
И сказал: — Теперь полегчает, Ларичев? —
Но Ларичев молчал, нехорошо молчал.

А ты думал (и знал,
Что все думают о том же самом):
Помазан избавился от войны.
А ты думал (и знал,
Что у других такие же, похожие думы):
Не удрать ли и тебе к твоей казачке,
До ее станицы не так уже далеко,
А там неплохо, там чисто, сытно, сладко,
Можно выдать себя за армянина, —

Ты похож, немцы поверят, —
А она не продаст, спрячет,
Она тебя любит, не сомневайся, любит...

А ночью ты поднялся, и все поднялись, —
Тот без ремня, тот без сапог, но все с оружием, —
И опять вы пошли на восток.
Иногда вам встречался такой же, как вы,
Одинокий окруженный солдат,
Все выцвело у него: глаза,
Волосы, гимнастерка, гвардейский значок.
— Где наши? Может, слыхал?
— В Казахстане. А то и подальше.
— Где немцы? Дошли докуда?
— До Тифлисской: царя привезли грузинам.
— А ты куда?
— На передовую: жену гладить.
— Ну и катись... А с нами пойдешь?
— Пойду, если принимаете.

8

Песок, песок.
Кто сказал, что время течет, как вода?
Время течет, как песок,
И песок душит
Редкие кусты таволжника,
Запах полыни,
Упрямые корешки лебеды,
Стеклянные осколки соленых озерков.
А порою, как и время,
Песок становится скоморохом:
То он бежит волной,
Подражая воде в реке,
То притворяется ржаной мукою,
То он шумит, как вода под ветром,

То возникают, занимая полнеба,
Многобашенные города
С розовыми зданьями и лазоревыми куполами,
Но все это призраки, марева, обманы,
Песок, песок.

Иногда мерещится тебе:
По выжженной солнцем сухой равнине
Скачет беглец-раб,
Угнавший коня из становья.
Он хочет пить, пить,
Но кругом степь, степь,
Безлюдная, безводная степь.
Тогда беглец-раб
Протыкает жилу своего коня
И, вставив тонкий стебель камыша,
Высасывает густую, теплую кровь.
Но разве жажда утоляется кровью?
И вот умирают и конь, и всадник,
И мертвых заносит степной песок,
Песок, песок.
То померещится тебе:
Говорит песчинка другой песчинке:
«Мы одной крови — я и ты,
А все иное — не я и не ты,
Не нашей крови,
Задушим проточную воду,
Задушим все, растущее на земле,
Задушим грядущее на земле.
Пусть останется только то,
Что я и ты, —

Песок, песок!»
Но вы идете по земле,
Потому что вы — начало грядущего, —
А грядущее это и есть возмездие, —
Потому человек равен человеку,

И никто другой ему не равен,
Потому что любовь родится даже из зла,
А вы, люди, — дети любви,
И вот вы идете к людям,
Не потому, что вы одной крови,
А потому, что вы одной любви.

Вам кажется, будто
День сливается с днем,
А на самом деле
День сменяется днем,
Новым днем, тем самым,
Который для вас разгорится в Германии,
И ты еще вместе с Заднепруком проскачешь
По разрушенному асфальту узких улиц,
Мимо загаженных церковных ступеней,
Между домами с островерхими крышами,
Там, где даже деревьям, воздуху, бензоколонкам
Придется доказывать на суде —
Не на людском суде, а на Страшном —
Свою непричастность к убийству...

Песок, песок,
Песок на гончарном круге солнца,
Песок на мимолетной, зыбкой тени
Пугливо бегущих сайгаков,
Песок на лопоухой и колючей траве,
Во рту песок.

9

Миновали донскую степь,
И ставропольскую, и моздокскую миновали,
А вот и Терек, и в Моздоке — Советская власть.
Так вы и пришли к своим, к России,
И Россия теперь проверит: кто вы?

Изменники Родины? Агенты? Трусы?
Новая жизнь — новый страх.

На проверку отправили всех на машине
В штаб Северо-Кавказского военного округа.
Прибыли. Вызвали вас, командиров, двоих.
Ларичев, миловидный, услужливый,
рано полысевший
(Он, если выживет, и потолстеет рано),
Пытался долго и вкрадчиво
Отправиться на комиссию вместе с вами,
Но вы пошли вдвоем: Заднепрук и ты.
А комиссия по проверке работала
В здании железнодорожной школы
На окраине республиканской столицы.
Вы спускаетесь по горбатым улицам.
Терек шумит рядом.
Но разве так шумит, как при Лермонтове
Или при скифах, аланах?
Река шумит шумом нашего дня,
Нашего сердца...
Все удивительно:
Афиши, возвещающие встречу с московским
артистом
Или доклад лектора обкома:
«Грюнвальд и славянское единство»;
Автобусы с населением;
Пучеглазая толстуха: чистка обуви;
Нарядно одетые военные в кителях из рогожки,
А рядовые — в войлочных шляпах;
Долговязый старик-осетин,
Читающий, с откинутой головой, газету-витрину;
Винницы, где свободно, за деньги,
Отпускают вино.

— Выпьем для храбрости? —
Предлагаешь ты Заднепруку,

Не столько потому, что хочешь выпить,
Сколько потому, что приятно почувствовать,
После трудных, страшных странствий
В окруженной, ночной, первобытной степи,
Как возвращается сила к денежным знакам.
— Не теперь, — отвечает Заднепрук,
Как брат, обнимая тебя и щуря острые глазки, —
Я, как выпью, теряю ум,
И тогда у меня душа — вот
(Он показывает, как раскрывается у него душа),
А нам с тобой зараз нужно душу на крючки,
По-умному надо.

Перед вами возникает широкий, пыльный,
Видимо, забытый рельсовый путь,
И тебе кажется, что вдали ты видишь
Поднимающегося в город сержанта Ларичева.
Ты говоришь об этом Заднепруку:
— И адрес школы, сволочь, узнал,
Уже там побывал, накапал. —
А Заднепрук: — Ты обознался. —
И, подумав, добавляет: — Он жить хочет. —
Ты хорошо понимаешь, что означают эти три слова,
Когда их произносит Заднепрук,
И внимательно смотришь на товарища
по окружению,
А он — чистым и прямым взглядом — на тебя.
Минут через десять вы сворачиваете,
Мимо домиков, крытых камышом, за угол,
И сразу становится ясно,
Что пришли туда, куда надо было прийти:
К своим.
На просторном дворе железнодорожной школы,
Прямо на земле,
Где растет между острыми камешками
Отгоревшая, кое-где жгучая травка,
Сидят военачальники:

Командиры без корпусов и дивизий.
Они ждут вызова: проверка!

Одни беседуют, пугают друг друга:
— Петунина, Васятку, помнишь?
— С луны свалился, какого Петунина!
— Василия Карповича, генерал-лейтенанта!
— Так ему дали штрафную роту, звание —
капитан. —
У других, молчаливых, тут же, на камешках —
Четвертинка, соль в тряпке, помидоры, хлеб,
Самодельный солдатский ножик...

Морячок-кавторанг почему-то в кепке,
Какие бывают у продавцов лаврового листа,
С ним вяло разговаривает некто в синих штанах
С красными генеральскими лампасами
И в украинской, очень грязной, но когда-то ярко,
По-гуцульски вышитой рубахе.
Кое-где видны и раненые.
Август.
Кавказское солнце еще раз касается кистью
Вашего донского, степного загара.

— А, Заднепрук, и ты, Брут?
Кто же натрепался, что ты сидишь?
Ты не сидишь, а бежишь! —
Зычно кричит танкист в генеральской форме,
Как видно, с чужого плеча,
И с плеча, вдобавок, жирного, а этот — худ.
Раздобыл он и свои заслуги,
Выставил в два ряда.
Он целует, с большим чувством, Заднепрука:
Вместе, наверно, служили в Первой Конной.
Заднепрук доволен, он представляет тебя генералу.
Тот запросто, как равному, пожимает тебе руку,

Называет свою фамилию,
Ныне такую громкую...

На ступеньках здания школы
Появляется старший лейтенант со списком.
Все замолкают.
Он среднего роста, этот старший лейтенант,
Он еще не знает, что такое война,
Кавказский человек, тонкий в талии.
На нем неслыханной белизны китель,
Высокие, может шевровые, сапоги,
Блестящие, как восточная сказка.
У него маленькие, с наперсток, сочные губы,
Прежде чем выкрикнуть слово,
Он держит их несколько мгновений раскрытыми,
И у каждого замирает душа:
— Гвардии инженер-полковник Дидык!
Приготовиться генерал-майору Жорникову! —
У него произношение такое же,
Как у нашего вождя,
Когда тот говорил нам: — К вам обращаюсь,
Братья и сестры мои!

И вот, без фуражки, в солдатских обмотках,
Жалко поднимается по деревянным ступенькам
Высокий, наскоро — с порезами —
побритый Дидык,
И кавказский человек, старший лейтенант,
Смотрит на него с брезгливым состраданием.
А где-то во дворе уже готовится Жорников
Ответить за дивизию, потерянную, как иголка,
В сальских стогах,
А там настанет очередь Заднепрука
И, значит, твоя.

Но ты об этом еще ничего не знаешь,
Ты еще в Краснодаре, где пока весна,

Первая военная наша весна.
Ты прибыл во главе шоферов за полуторками,
У тебя — предписание —
В штаб тыла Южного фронта.
Вы устроились на квартире, в мазанке,
У каких-то дальних родственников Помазана:
Нет дураков, чтобы жить в казарме.
Ты только что спрыгнул с площадки трамвая
И стоишь на месте, еще не зная, куда пойти.
Ты недвижен, техник-интендант,
А время уносит тебя, как река,
И ты, недвижный, плывешь, плывешь...

1 августа 1963 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

Липкин Семен Израилевич

ЛУННЫЙ СВЕТ

Стихотворения и поэмы

Редакторы В. А. Пальчиков, Р. Е. Постоянцева
Художник В. П. Мальтин
Художественный редактор В. В. Покатов
Технический редактор Г. А. Иванова
Корректоры Г. А. Голубкова, О. И. Ощепкова

Издание подготовлено к печати по автоматизированной редакционно-издательской технологии на персональных ЭВМ
Операторы: А. С. Левенчук, Г. А. Иванова, О. Н. Воробьева

ИБ № 5915
Сдано в набор 15.01.90. Подписано к печати 30.05.90. Формат 70х90 1/32. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Бумага офс. № 2. Усл. печ. л. 9,36. Усл. кр.-отт. 18,72. Уч.-изд. л. 7,23. Тираж 7 500 экз.
Заказ 79 Цена 90 коп.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30.

Липкин С. И.
Л61 Лунный свет: Стихотворения и поэмы. — М.: Современник, 1991. — 252 с.
ISBN 5-270-01119-0

Московский поэт Семен Липкин — участник Великой Отечественной войны, народный поэт Калмыкии — известен читателям прежде всего как переводчик. Более полувека переводит он на русский язык народно-эпическую и классическую поэзию советского и зарубежного Востока.

В столичных издательствах вышли в свет также книги оригинальных стихов «Очевидец» (1967), «Вечный день» (1975), в издательстве «Ардис» (США) — «Воля» (1981) и «Кочевой огонь» (1984), в приложении к журналу «Огонек» — «Лира» (1989).

В сборник включены стихотворения и поэмы, написанные поэтом за сорок с лишним лет и в большинстве своем ранее выходившие только за рубежом.

Л $\frac{4702010202-014}{М106(03)-91}$ 164-91

ББК 84Р7

В 1990 году
в издательстве «Современник»
вышли следующие книги-новинки
Л. Ошанина «Ты есть у меня или нет?»
П. Рожновой «Красная горка»